

Российская Академия Наук
Институт философии
Центр философских проблем российского реформаторства

А.А. Кара-Мурза

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв.

Выпуск третий

Александр Пушкин, Николай Станкевич,
Тимофей Грановский, Андрей Краевский, Иван Аксаков,
Иван Тургенев, Михаил Стасюлевич, Антон Чехов,
Николай Бердяев, Петр Струве, Федор Степун

Москва
2014

УДК 14
ББК 87.3
К 21

В авторской редакции

Рецензенты:

доктор филос. наук *О.А. Жукова*
доктор полит. наук *М.М. Федорова*

К 21 **Кара-Мурза, А.А.** Интеллектуальные портреты: Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 3 [Текст] / А.А. Кара-Мурза ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2014. – 215 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0278-2.

Книга известного философа и политолога, доктора философских наук А.А. Кара-Мурзы (третья в авторской серии «интеллектуальных портретов») представляет собой сборник оригинальных биографий крупнейших деятелей русской культуры и политики – Александра Пушкина, Николая Станкевича, Тимофея Грановского, Андрея Краевского, Ивана Аксакова, Ивана Тургенева, Михаила Стасюлевича, Антона Чехова, Николая Бердяева, Петра Струве, Федора Степуна. Автор продолжает выстраивать родословную либерально-консервативной, культуроцентричной традиции русской общественной мысли.

ISBN 978-5-9540-0278-2

© Кара-Мурза А.А., 2014
© Институт философии РАН, 2014

Предисловие

Настоящая книга является третьим выпуском из авторской серии «интеллектуальных портретов», посвященной отечественным мыслителям XIX–XX вв.¹

В *первый раздел* вошли научные статьи, посвященные юбилеям выдающихся деятелей философии и культуры, которые Институт философии РАН (где я работаю уже тридцать пять лет) и Национальный фонд «Русское либеральное наследие» (который я возглавляю более десяти лет) отмечали в 2010–2014 гг.

21 ноября 2013 г. в ИФ РАН состоялся «круглый стол», посвященный 500-летию трактата Никколо Макиавелли «*Il Principe*». В докладе, а теперь и в статье, я развиваю гипотезу (выдвинутую еще в работах середины 1990-х гг.) о том, что поэма А.С.Пушкина «Медный всадник» является русским парафразом на тему написанного почти за триста лет до этого «Государя» великого флорентийца.

В разделе публикуются также две статьи в жанре «философского краеведения», посвященные *московской идентичности* двух деятелей русского Серебряного века – Николая Александровича Бердяева (1874–1948) и Федора Августовича Степуна (1884–1965).

Юбилейные даты, связанные с жизнью и творчеством Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), мы не так давно активно отмечали в Перми и Москве. Статья о Струве – философском и политическом теоретике – является итогом многолетней исследовательской работы.

Во *втором разделе* книги читатель найдет не опубликованные ранее доклады, прочитанные автором в 2010–2014 гг.

10 мая 2010 г. в Институте философии состоялся первый симпозиум из цикла «Философия и журналистика», подготовленный совместно с Союзом журналистов России. Доклад, прочитанный автором, был посвящен 200-летию со дня рождения крупнейшего русского журналиста и издателя, философа по университетскому образованию, Андрея Александровича Краевского (1810–1889).

¹ См.: *Кара-Мурза А.А.* Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М., 2006. Вып. 1; *он же.* Интеллектуальные портреты. Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. М., 2009. Вып. 2.

Следующий симпозиум из этого цикла состоялся 17 февраля 2011 г. и был посвящен памяти двух выдающихся русских мыслителей и журналистов – Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886) и Михаила Матвеевича Стасюлевича (1826–1911). Доклад на открытии этого симпозиума предлагается читательскому вниманию.

20–21 июня 2012 г. в ИФ РАН прошла международная конференция «Александр Герцен и исторические судьбы России», посвященная 200-летию русского мыслителя. Выступая тогда с докладом, я рассказал о том, как в 1834–1835 гг. Герцен не менее пяти раз бывал в доме, где сегодня работает Институт философии, ибо именно тогдашний хозяин особняка, князь С.М.Голицын, руководил Следственной комиссией по делу о «неблагонадежной молодежи», в котором был замешан двадцатидвухлетний Герцен. В кабинете Голицына его четырежды допрашивали; здесь же ему была объявлена «высочайшая воля» императора Николая – административная высылка в Пермь. В историческом «красном зале» дома на Волхонке, благодаря инициативе «Русского либерального наследия», была открыта мемориальная доска.

14 октября 2013 г. в «Русском доме» в Генуе прошла международная конференция в честь 200-летия Николая Владимировича Станкевича (1813–1840), скончавшегося в городке Нови-Лигуре под Генуей, где делегация российских философов также побывала.

Завершает раздел доклад об «итальянских путешествиях» Антона Павловича Чехова (1860–1904), сделанный на посвященной ему конференции в ИФ РАН 12 октября 2010 г. Ранее автор много занимался адресами Чехова в Риме, Венеции, Флоренции, Неаполе; осенью 2013 г. ему удалось побывать в «чеховских местах» Генуи и Нерви.

В *третий раздел* книги вошли два эссе: о Тимофее Николаевиче Грановском (1813–1855) и Иване Сергеевиче Тургеневе (1818–1883), написанные к юбилейным мероприятиям в Орле и Москве.

Институт философии РАН и Фонд «Русское либеральное наследие» любят и умеют отмечать юбилеи выдающихся деятелей русской культуры. Эти памятные даты придают дополнительные краски чувствуемым персонажам, а на внимательных и благодарных исследователей налагают новую ответственность.

*Алексей Кара-Мурза,
лето 2014 г.*

СТАТЬИ

Пушкин и Макиавелли (о философско-политических параллелях «Медного Всадника» и «Государя»)¹

В данном тексте речь пойдет о влиянии трактата Никколо Макиавелли «Государь» (500-летие со времени написания которого отмечалось в 2013 г.) на русскую культуру. Я остановлюсь главным образом на политико-философских параллелях «Государя» и «Медного всадника» А.С.Пушкина.

Трактат «Государь» обладает своеобразной текстовой структурой: философская концепция здесь не предшествует основному корпусу назидательных исторических примеров, а завершает и обобщает их. Ключевой политико-философский смысл трактата сформулирован в предпоследней, 25-й главе, которая называется: *«Насколько дела человеческие зависят от фортуны и как можно ей противостоять»*². Макиавелли дает здесь следующее определение «фортуны» или «судьбы»: *«Я уподобляю ее бурной реке, которая, расвирепев, затопляет долину, крушит дома и деревья..., все уступает и бежит перед стихией, не в силах ей противостоять»*³.

Больше двадцати назад я, уже не первый год читая курсы по истории политической философии, обратил внимание на то, что главным героем пушкинского «Медного всадника» как раз является разбушевавшаяся река, наводнение, которое обуздывается «Медным всадником», пушкинским воплощением Петра Великого. В свое время я написал об этой переключке смыслов пушкинской поэмы и «Государя» в книге «Реформатор. Русские о Петре Великом» (1994)⁴, а затем и в монографии «Новое варварство как проблема российской цивилизации» (1995)⁵, написанной на ос-

нове докторской диссертации. С тех пор идея о том, что «Медный всадник» является русским парафразом на тему «Государя» Макиавелли, неоднократно мною уточнялась, и, как мне кажется, заметно усилилась.

Пушкин, разумеется, хорошо знал труды Макиавелли, еще с Царскосельского лица, где великий флорентиец фигурировал в курсах любимых пушкинских преподавателей – Александра Петровича Куницына, профессора этики, политической науки и права и профессора русской и латинской словесности Петра Егоровича Георгиевского⁶. Есть все основания считать, что Пушкин весьма уважительно относился к Макиавелли. В своих исторических зарисовках «Table-Talk» (написанных примерно в те же месяцы, что и «Медный всадник»), он, например, с иронией писал о «езуите Посвине» – «одном из самых ревностных гонителей памяти макиавелевой», который «соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец» (речь идет о сочинении Антонио Поссевино 1592 г. «Суждение о четырех писателях». – *А.К.*). Пушкин, напротив, положительно отзывался о немецком историке Германне Конринге (у Пушкина – *Conringius*), издавшем в 1660 г. «Государя» Макиавелли в переводе на немецкий язык и доказавшем, что «Посвин никогда не читал Макиавеля, а толковал о нем понаслышке». Сведения об этой полемике Пушкин мог почерпнуть из предисловия Ж.-В. Периеса к изданному на французском языке 10-томному собранию сочинений Макиавелли (Paris, 1823–1826), имевшемуся в пушкинской библиотеке. Цитируя в «Застольных разговорах» некоторые известные максимы Макиавелли, Пушкин называл его «великим знатоком природы человеческой»⁷.

Обратимся теперь к обстоятельствам написания поэмы «Медный всадник». Известно, что Пушкин, получив в начале августа 1833 г. высочайшее разрешение на поездку в Оренбург и Казань для работы над «Историей Пугачева», выехал из Петербурга в Москву вместе с С.А.Соболевским, но чуть было не вернулся из-за очередного разлива Невы. Впрочем, в голове его уже крепко сидела мысль написать произведение, главным персонажем которого станет именно наводнение: с собой в дорогу он взял книгу В.Н.Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге».

Поскольку из Петербурга Пушкин выехал именно с Соболевским, похоже, что именно он может рассматриваться как главный пушкинский конфидент в обсуждении литературных планов, и, следовательно, его свидетельства об истории создания «Медного всадника» имеют особую значимость. Согласно рассказам Соболевского (зафиксированным такими авторитетными публикаторами, как П.И.Бартенев, А.П.Милюков и др.), на Пушкина произвела сильное впечатление одна «петербургская легенда», пересказанная ему графом М.Ю.Виельгорским. Якобы в 1812 г., когда Петербургу грозила опасность французского вторжения, император Александр Павлович планировал эвакуировать памятник Петра Великого вглубь России. Но в тот момент друг царя кн. А.Н.Голицын, «масон и духовидец», сообщил ему о своем знакомом, некоем «майоре Батурина», которого преследовал навязчивый сон: «Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову (где жил тогда Батурин), влекомый какою-то чудною силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменно-островского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. “Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?, – говорит ему Петр Великий. – Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!” Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье». Пораженный рассказом Батурина, кн. Голицын передал сновиденье государю, также не чуждого мистики, и статуя Петра Великого была оставлена в покое⁸.

Как мы знаем, император Александр Павлович является одним из действующих лиц «Медного всадника» – правда, вызывающим скорее жалость и призванным оттенить подлинное величие Петра. В поэме Александр появляется единожды: он с фаталистической обреченностью глядит на страшное наводнение с балкона Зимнего дворца.

«...В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен вышел он
И молвил: “С божией стихией
Царям не совладать...” Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел»⁹.

Этот фрагмент пушкинской поэмы позволяет провести новые параллели с «Государем». Как следует из Макиавелли, обуздать фортуна может только личная «доблесть» (*virtu*) «Государя», призванного возвести «заграждения», «плотины» на пути стихийного разлива бурной реки. Макиавелли пишет о «судьбе» («фортуне»): «Ее могущество проявляется там, где доблесть не готова ей противостоять, поэтому фортуна обрушивает свои удары на то место, где она не ожидает встретить сдерживающих ее плотин и запруд». В этом смысле, указывает Макиавелли, современные ему правители разьединенной Италии (которая видится ему уязвимой для разлива хаоса «равниной, лишенной каких бы то ни было плотин и преград»), оказались не в силах «совладать с судьбой». Другое дело – Германия, Испания или Франция, которые надежно ограждены от стихии «подобающей доблестью» их государей¹⁰. Именно в 25-й, «философской» главе своего трактата Макиавелли пишет о принципиальной разнице между истинным Государем, умеющим управлять судьбой, и государем мнимым, временным «баловнем судьбы». «Замечу, – пишет Макиавелли, что мы можем наблюдать, как сегодня какому-то государю сопутствует успех, а завтра падение, хотя он нисколько не изменил своих природных качеств. Я думаю, это происходит... потому, что государь, целиком полагающийся на удачу, гибнет из-за ее переменчивости. Я полагаю также, что успех сопутствует тому, кто соразмеряет свой образ действий с обстоятельствами момента; не везет же тому, кто не умеет идти в ногу со временем»¹¹.

Что же за тип «государя» может противостоять фортуне? Об этом Макиавелли говорит в 18-й главе, где содержится известное определение истинного «государя», как персонажа двойной природы – человеческой и животной одновременно. Поскольку «можно вести борьбу двумя способами: опираясь на закон или с помощью насилия» (при этом «первый способ применяется людьми, а второй – дикими животными»), то, делает вывод Макиавелли, «государь должен уметь подражать и зверю, и человеку»¹².

Хорошо известно, что, согласно Макиавелли, из всех зверей Государь должен уподобиться главным образом двум – льву и лисе: «Лев не защищен от капканов, а лиса – от волков. Следовательно, нужно быть лисой, чтобы избежать ловушек, и львом, чтобы напу-

гать волков»¹³. Однако немногие помнят буквально соседнее место из 18-й главы, где прямо после слов «государь должен уметь подражать и зверю, и человеку» Макиавелли пишет следующее: «Этот совет в иносказании давали государям древние писатели, которые сообщают, что Ахилл и многие другие из старинных властителей были отданы на выучку кентавру Хирону, который должен был их растить и воспитывать. А иметь наставником полужверя и получеловека означает для государя не что иное, как необходимость пользоваться природой и того, и другого, ибо с помощью одной из них долго не продержаться»¹⁴.

Но ведь у Пушкина «Медный всадник» – это и есть Кентавр, «получеловек – полуживотное». «Медный всадник», разумеется, – это вовсе не царь Петр на коне; это новая сущность: Государь-Кентавр. И, разумеется, именно к нему, как к философскому образу, а не к просто к лошади под всадником обращены слова Пушкина:

«Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?»

И заметим, сразу же, в следующей же строке, у Пушкина фигурирует «Судьба»:

«О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?»¹⁵

Итак, главная идея Макиавелли в «Государе» – абсолютно прозрачна. Судьба, фортуна – это проявления первичного хаоса. Государь же – воплощение Цивилизации, этот Хаос обуздывающий. Об этом же – у Пушкина. Наводнение у него – выплеск «варварской стихии»:

«Нева вздувалась и ревела,
Котлом клопоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...»

или:

«Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна...»

«Медный всадник» Пушкина – это воплощение истинного «Государя», Петра Великого, в свое время победившего фортуны и выстроившего каменную крепость на диких финских болотах, а теперь снова побеждающего наводнение, этот новый выплеск злой «фортуны» и «варварства»:

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побеждённая стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!»¹⁶

Полагаю, что ближе всего к разгадке философского смысла «Медного всадника» подошел Г.П.Федотов. Еще в ранне-эмигрантской статье «Три столицы» (1926) автор предпринял попытку взглянуть на весь петербургский период через призму многозначности образа «Медного всадника», как его нам представили Пушкин и Этьен Фальконе. По мнению Федотова, «Медный всадник» – это образ борьбы Империи с порожденной ею культурой и ее конечным воплощением – Революцией: «Это борьба отца с сыном и нетрудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, “утопии”, “беспощадная последовательность”, “западничество”, отрыв от матери-земли»¹⁷.

Тему пушкинского отношения к Империи, с одной стороны, и к русскому хаосу, с другой, кратко затронутую Федотовым в «Трех столицах», он развил спустя десятилетие, в год столетия гибели Пушкина, в статье «Певец Империи и свободы», напечатанной в парижских «Современных записках» в 1937 г. На мой взгляд, эта статья (хотя Макиавелли в ней опять-таки прямо не упоминается) свидетельствует о полном понимании Федотовым «макиавеллиевского» контекста «Медного всадника». Это ясно видно хотя бы из слов: «В “Медном Всаднике” не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение!»¹⁸

Для меня очевидно, что в этой статье 1837 г. Федотов *фактически* утверждает (хотя и не пишет об этом буквально), что Пушкин, во-первых, был абсолютно «внутри» контекста трактата Макиавелли в постановке вопроса о правоте Государя перед лицом стихии, а, во-вторых, не был чужд и самого «макиавеллизма» в разрешении этого вопроса. Читаем у Федотова: «Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живет Пушкин... На бранном поле Аполлону трудно сохранить благородство своей бесстрастной красоты... Бесполезно поэтому видеть в империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, как и в жизни государства – отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды (“Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”) являются *ярким воплощением политического аморализма* (курсив мой. – А.К.)»¹⁹. Разумеется, на эту оценку «польских» сочинений Пушкина повлияла последовательно «понофильская» позиция самого Федотова²⁰.

Настало, видимо, самое время рассмотреть еще одно, принципиальное обстоятельство, позволяющее установить внутреннюю взаимосвязь двух гениальных произведений – трактата Макиавелли «Государь» и написанного более чем через триста лет «Медного всадника». Это – развитие «польской темы» в творчестве Пушкина и его отношения с польским поэтом Адамом Мицкевичем.

Установлено, что среди книг, взятых с собой Пушкиным летом 1833 г. в поездку в Оренбург и Казань, было и четырехтомное польское издание произведений Мицкевича (запрещенных в России), незадолго до этого привезенное Пушкину из Европы С.А.Соболевским, лично встречавшимся с польским поэтом в Риме и Париже. Известны и причины, по которым Пушкин во второй половине 1833 г. был крайне взволнован своими отношениями со старым другом – Мицкевичем²¹.

Как известно, во время своего пребывания в России в 1824–1829 гг. Мицкевич неоднократно встречался с Пушкиным в Москве и Санкт-Петербурге и сдружился с ним (поэты были практически ровесниками). Одна их встреча особенно примечательна в контексте нашей темы – она имела место у памятника Петру на Сенатской площади и была позднее описана Мицкевичем в стихотворном отрывке «Памятник Петра Великого» («Pomnik Piotra

Wielkiego»), вошедшего в приложение («Ustęp») к III части поэмы «Дзяды» (1832): «Вечером под дождем стояли два юноши под одним плащом, взявшись за руки: один был пилигрим, пришелец с Запада, неизвестная жертва злой судьбы; другой был поэт русского народа, прославившийся песнями на всем севере. Знакомы были они недолго, но тесно и уже несколько дней были друзьями. Их души выше земных преград, как две родственные альпийские вершины, которые, хотя и разорваны навеки струею потока, едва слышат шум своего врага, склоняя друг к другу поднебные вершины». (Эта история диалога двух поэтов у «Медного всадника» стала мотивом знаменитого горельефа М.И.Мильбергера на фасаде дома в Глинищевском переулке в Москве, где когда-то, в гостинице «Англия», встречались Пушкин и Мицкевич)²².

Однако в 1830-е гг. пути друзей разошлись. Пушкин, как известно, с радостью воспринял подавление польского восстания 1830–1831 г. и на пару с Жуковским написал восторженные стихи в брошюре «На взятие Варшавы». Для Мицкевича стало трагедией и падение революционной Варшавы, и «предательство» (как он считал) некоторых русских друзей. В ответ на «антипольские» сочинения Пушкина и Жуковского он написал стихотворное обращение «Русским друзьям» («Do przujaciol Moskali»), которое, через Соболевского, попало в руки Пушкина летом 1833 г. Стихотворение Мицкевича начиналось весьма благожелательно:

«Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах».

Однако в последующих строфах Пушкин наверняка уловил намек на себя и своих единомышленников:

«Быть может, золотом иль златом ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже:
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.

Иль, деспота воспев подкупленным пером,
Позорно предаёт былых друзей злословью,
Иль в Польше тешится награбленным добром,
Кичась насильями, и казнями, и кровью».

Последнее четверостишие звучало особенно вызывающе:

«А если кто из вас ответит мне хулой,
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый
И рвется искусать, любя ошейник свой,
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.»

Разумеется, Пушкин не мог оставить едкое сочинение Мицкевича без ответа – оставалось избрать его форму. Известен черновик так и не дописанного стихотворного ответа Пушкина, по смыслу и даже форме абсолютно «симметричного» тексту Мицкевича. Пушкин начинает предельно доброжелательно:

«...Он между нами жил,
Средь племени враждебного; но злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили...»

А заканчивает текст совершенно на иной ноте:

«...Теперь наш мирный гость нам стал врагом, – и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напоет. Издали до нас
Доходит голос злобного [падшего] поэта...» и т. д.²³

Тот факт, что данный «ответ Мицкевичу» так никогда и не был закончен, говорит о том, что Пушкин отказался от «стихотворной дуэли» и предпочел иную форму обоснования своей позиции. В значительной мере этой формой и стала поэма «Медный всадник», обосновывающая историческую правоту «Империи» перед лицом «нового варварства» (читай: революции).

Однако, при чем здесь Никколо Макиавелли? В том-то и дело, что во взаимоотношениях Пушкина и Мицкевича труды «великого флорентийца» (и прежде всего «Государь») сыграли принципиальную роль. Начнем с того, что для культурного класса католической Польши на протяжении столетий «макиавеллиевская» тема о способах и цене объединения страны была не менее актуальной, чем для разьединенной Италии начала XVI в., когда писался знаменитый трактат.

Сам Мицкевич, как одна из ключевых фигур польского самосознания и национального освобождения, крайне интересовался Макиавелли и часто цитировал его. В своих письмах польским друзьям

из Москвы Мицкевич не раз упоминал, что увлечен «итальянскими» литературно-историческими сюжетами – например, «Историей Флоренции» Макиавелли и «Заговором Фиеско в Генуе» Шиллера.

Более того, именно из Макиавелли Мицкевич взял эпиграф для своей главной поэмы «Конрад Валленрод», посвященной излюбленной теме Макиавелли – вопросу о нравственно приемлемом и неприемлемом в борьбе на свободу. Это – цитата из той самой, «философской», 25-й главы «Государя»: *«Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы... надо поэтому быть лисицей и львом».*

Главный герой поэмы Мицкевича – Конрад Валленрод, литовец, хитростью и обманом пробравшийся на пост Великого магистра Тевтонского ордена, чтобы разложить врага изнутри и добыть для родины желанную свободу. Отметим, что эпиграф из Макиавелли в поэме польского поэта очень насторожил (если не сказать: напугал) наместника русского императора в Польше Н.Н.Новосильцева, который счел большой ошибкой разрешение Санкт-Петербургской цензуры на печатание «Конрада Валленрода» в России (да еще и с посвящением царю Николаю!). В своем официальном рапорте Новосильцев, человек хорошо и разносторонне образованный, разъяснял «сокровенный смысл» эпиграфа про «лисицу и льва»: «Согревать угасающий патриотизм, питать вражду и приуготовлять будущие происшествия, учить нынешнее поколение (поляков. – А.К.) быть ныне лисицею, чтобы со временем обратиться в льва». Согласно Новосильцеву, вся поэма была назначена (и на это и намекает эпиграф из Макиавелли) к тому, чтобы вызывать «чувствования, свойственные побежденным, оправдывающие даже неблагодарность и самую измену», чтобы приуготовлять «скрытым образом ужаснейшую войну»²⁴.

Необходимо отметить, что сам Адам Мицкевич отрицательно относился к явлению, получившего с его легкой руки понятие «валленродизм», да и сам его герой определял избранное им средство борьбы за национальное освобождение как «проклятое» и «страшное». Между тем поэма Мицкевича «Конрад Валленрод» стала не только знаменем польского освобождения, но и получила немалую популярность в России. Примечательно, что сам А.С.Пушкин с энтузиазмом принялся за ее перевод на русский язык (переведенные им начальные главы обещали литературный шедевр), но внезапно бросил работу. Логично в этой связи предположить, что «Медный

всадник» Пушкина – это не просто своеобразное стихотворное послание к Мицкевичу, а послание на хорошо понятном обоим поэтам (и политикам) языке – языке «Государя» Макиавелли.

И еще один аргумент в пользу «незримого присутствия» Макиавелли в творчестве А.С.Пушкина и его литературно-политической полемике с А.Мицкевичем. Дело в том, что параллельно с «Медным всадником» Пушкин писал еще одну поэму – «Анджело», начатую предположительно в феврале 1833 г. и законченную в Болдино 27 октября 1833 г.²⁵ Речь идет о тексте, начатом сначала как перевод шекспировской пьесы «Measure for measure» («Мера за меру»), однако вскоре Пушкин вступил на путь свободной импровизации, вернув действие из Австрии в Италию (сам Шекспир заимствовал сюжет пьесы из одной итальянской хроники, но перенес действие в Вену).

Пушкин прежде всего усилил образ главного героя – Анджело, начинавшего как высокоморальный праведник и получившего абсолютную власть для установления мира и наведения порядка, а потом запутавшегося в собственных интригах и превратившегося в коварного деспота. Блестящий знаток творчества Пушкина, акад. М.Н.Розанов однозначно усмотрел в пушкинском «Анджело» черты «макиавеллического тирана» (курсив мой. – А.К.)²⁶

В заключение скажу, что наш русский спор о Макиавелли²⁷ во многом связан с тем, что именно его «Государь» стал неким идентификационным зеркалом для споров о самой России. Далекое не первым, но, безусловно, самым ярким воплощением этого стал «Медный Всадник» Александра Сергеевича Пушкина.

Примечания

- ¹ Статья написана на основе доклада на конференции «Мораль и политика», посвященной 500-летию трактата «Il Principe», прошедшей в Институте философии РАН 21 ноября 2013 г.
- ² *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М., 2002. С. 432–435. Здесь и далее в тексте используется вариант перевода «Государя» М.А.Юсима. Впрочем, все профессиональные русские переводчики с итальянского – и расстрелянный в «большом терроре» М.С.Фельдштейн, и Г.Д.Муравьева – одинаково хорошо понимали ключевое значение этой главы, и их варианты перевода отличаются незначительно.
- ³ Там же. С. 433.

- 4 *Кара-Мурза А.А.* Формула Петра Великого // *Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В.* Реформатор. Русские о Петре I. Опыт аналитической антологии. Иваново, 1994. С. 290–291.
- 5 *Кара-Мурза А.А.* «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М., 1995. С. 64 – 65. В этой книге я даже позволил себе сделать такой вывод: «Вообще тот факт, что Макиавелли и Петр Великий не встретились во времени и пространстве, и первый преподнес свой знаменитый трактат “Государь” не Петру, а Лоренцо Медичи, – одно из недоразумений, на которые так богата история» (Там же. С. 64).
- 6 Пушкин очень любил русского энциклопедиста А.П.Куницына, который, окончив Главный педагогический институт, затем учился еще в Геттингенском и Гейдельбергском университетах. Вспомним слова поэта в «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.»: *«Куницыну дань сердца и вина! // Он создал нас, он воспитал наш пламень, // Поставлен им краеугольный камень, // Им чистая лампада возжена»*. Что касается П.Е.Георгиевского, то в опубликованном им «лицейском курсе» есть прямая характеристика Макиавелли: «образователь лучшей их (итальянцев. – А.К.) исторической школы, к сожалению, распространивший самые вредные правила политики в государствах» (*Георгиевский П.Е.* Руководство к изучению русской словесности. Ч. 4. СПб., 1836. С. 78).
- 7 *Пушкин А.С.* Избранное. Ч. 1. М., 2010. С. 740.
- 8 См.: *Измайлов Н.В.* «Медный всадник» А.С.Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // *Пушкин А.С.* Медный всадник. Л., 1978. С. 243–244.
- 9 В черновом варианте этот фрагмент у Пушкина начинался словами: «...*Тот страшный год // Последним годом был державства // Царя пред к<ем>...*» По мнению Н.В.Измайлова, далее, по всей видимости, должны были следовать слова: «пред кем склонился Наполеон» или «пал Париж» (*Измайлов Н.В.* «Медный всадник» А.С.Пушкина... С. 203).
- 10 См.: *Макиавелли Н.* Указ. соч. С. 433.
- 11 Там же. Как тут не вспомнить характеристику императора Александра Павловича из 10-й главы «Евгения Онегина»: *«Властитель слабый и лукавый // Плешистый щеголь, враг труда // Нечаянно пригретый славой // Над нами царствовал тогда»*. «Нечаянно пригретый славой» царь Александр, «баловень судьбы» – это очевидная пушкинская антитеза истинному «Государю», «*властелину судьбы*» Петру Великому.
- 12 Там же. С. 409.
- 13 Там же. С. 410.
- 14 Там же. С. 409.
- 15 Интересно, что Д.С.Мережковский в романе «Петр и Алексей» (из трилогии «Христос и Антихрист»), устами одной из своих героинь, иностранной фрейлины при русском дворе, уподобил царя Петра Алексеевича именно «кентавару». В дневнике фрейлины русский император предстает как абсолютно «макиавеллиевский» персонаж: «Играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр (sic! – А.К.), калечит их и убивает нечаянно»; «существо,

- странное, чуждое – не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское – но нечеловеческое» (*Мережковский Д.С.* Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 414, 415). Вообще, в отличие от большинства исследователей, Мережковский не боялся проводить прямые параллели между Петром Великим и Макиавелли. Это позволило мне еще в 1995 г. сделать вывод: «То, что эти фигуры если не одного размера, то, во всяком случае, – одного ряда, интуитивно почувствовал Д.С.Мережковский, у которого в трилогии “Христос и Антихрист” присутствуют и Макиавелли, и Петр – правда, в разных романах» (*Кара-Мурза А.А.* «Новое варварство» как проблема российской цивилизации... С. 64).
- 16 Из последних серьезных работ на эту тему см.: *Кантор В.К.* Санкт-Петербург: Российская Империя против российского хаоса. М., 1988.
- 17 *Федотов Г.П.* Три столицы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Избр. ст. по философии русской истории и культуры. Т. 1. СПб., 1991. С. 51. **Федотов завершает** этот яркий и глубокий фрагмент (одну из вершин русской историософии Серебряного века) словами: «Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконе, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змей, кто змеборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра – искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров – как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвилились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда началась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два змеиных трупа» (Там же. С. 52.)
- 18 *Федотов Г.П.* Певец Империи и свободы // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1992. С. 145. Несмотря на убедительную логику Федотова, советская (а иногда и постсоветская) литературоведческая «классика» (возможно, просто не знакомая с текстами русского эмигранта) продолжала утверждать, что в поэме «Медный всадник» лишь два героя – «Петр Великий» и «мелкий чиновник Евгений», а катастрофическое наводнение является лишь «событием», связавшим судьбы двух персонажей. Это прямо утверждал, например, Н.В.Измайлов: «В поэме, или “Петербургской повести”, как очень точно назвал ее в подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих две сплетенные между собою и сталкивающиеся идейно-тематические линии: первый из героев – Петр Великий, “могучий властелин судьбы”, “строитель чудотворный”, создатель города “под морем”, продолжающий как личность жить и после смерти в памятнике, давшем поэме ее заглавие; другой – Евгений, мелкий чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского уровня, “ничтожный герой”, вошедший в 30-х годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта... Эти два, казалось бы, неизмеримо далеко стоящих друг от друга героя оказываются связанными событием... – петербургским наводнением 7 ноября 1824 г.» (*Измайлов Н.В.* «Медный всадник» А.С.Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения... С. 148–149.) Разумеется, в такой оптике «макиавеллиевский» контекст пушкинской поэмы не мог быть уловлен.

- 19 Федотов Г.П. Певец Империи и свободы... С. 146–147. В том, что Федотов ни разу (насколько нам известно) не проводил *прямых* параллелей между «Государем» и «Медным всадником», нет ничего странного. Наивно было бы думать, что Федотов, слушавший исторические курсы в Берлинском и Йенском университетах, специализировавшийся на историко-филологическом университете по средневековой истории Италии и Франции у самого И.М.Гревса, проживший несколько лет в Италии и конкретно во Флоренции (городе, в котором Макиавелли является одной из центральных символических фигур), не обратил никакого внимания на «итальянский» контекст сочинения любимого им Пушкина. Скорее можно предположить обратное: общеизвестная в культурной Европе тема Макиавелли о «Государе», побеждающим варварскую стихию, была для Федотова *органичной до обыденности*, и он посчитал ненужной тривиальностью это впрямую декларировать.
- 20 См., например, горькие слова Федотова в статье «Польша и мы» (1939): «Всесветные печальники, готовые отречься от себя, от России ради всечеловечества, кажется, для одной Польши не нашли слова участия, простого сострадания. Так и прошли мимо – в лучшем случае. В худшем – мы имеем оду Пушкина и пародийные эпизоды Достоевского. Издевательство над поляком стало одной из типичных тем русской литературы». (Федотов Г.П. Защита России. Т. 4. Париж, 1988. С. 265.)
- 21 Интересно, что параллельно с обработкой «Истории Пугачева» и работой над «Медным всадником» в свою вторую «болдинскую осень» (октябрь – начало ноября 1833 г.) Пушкин закончил и переписал набело переводы двух баллад А.Мицкевича – «Будрыс и его сыновья» и «Воевода». Н.В.Измайлов полагает, что работа над этими переводами (возможно, начатыми ранее) активно велась весь октябрь 1833 г., «когда Пушкин имел в руках издание стихотворений Мицкевича и много думал о своем польском друге» (Измайлов Н.В. Указ. соч. С. 187).
- 22 В литературе продолжают споры о рисунке, сделанном пером Пушкина на черновой рукописи «Тазита» (и, несомненно, ранее, чем был написан текст). На рисунке – фальконетовский памятник Петру: скала, на ней конь, попирающий змею, но всадник отсутствует; к коню, сначала не имевшему ни седла, ни уздечки, позднее были тщательно пририсованы и то, и другое. Еще в начале 1930-х гг. А.М.Эфрос выдвинул версию, что «рисунок связан с первым замыслом “Медного Всадника”»: с постамента исчезает Петр, но не вместе с конем, как в окончательной редакции, а один, то есть Евгения преследует бронзовая фигура Петра, как мраморная фигура Командора убивает Дон-Жуана в “Каменном госте”». Эфрос датировал рисунок примерно 1829-м годом. (См.: Эфрос А. Рисунки поэта. М., 1933. С. 293, 423). Позднее Н.В.Измайлов прямо связал загадочный рисунок Пушкина с его встречами с Мицкевичем: «Не следует забывать, что... летом и осенью 1828 г. происходили встречи Пушкина с А.Мицкевичем, одна из которых – на площади у памятника Петра – послужила основой для позднейшего стихотворения Мицкевича... Беседы их во время этих встреч (при участии П.А.Вяземского) несомненно отразились в замысле

и в историко-философском содержании «Медного Всадника». Возможно, что и рисунок Пушкина в какой-то мере отражает эти беседы у памятника». (*Измайлов В.Н.* Указ. соч. С. 182).

- 23 Этот пушкинский черновик некоторое время находился в собрании великого князя Константина Константиновича, а позднее, согласно его завещанию, был передан в Пушкинский Дом при Российской Академии наук. Как установлено Н.В.Измайловым, пушкинский набросок незаконченного стихотворного ответа Мицкевичу относится к лету-осени 1833 г., а не к 1834 г., как считалось ранее (*Измайлов Н.В.* Указ. соч. С. 187; см. также: *Schwarzband Samuel.* А.Мицкевич и А.Пушкин. 1830–1833. К творческой истории создания «Медного всадника» // *Cahiers du monde russe et sovietique.* 1985 Vol. 25. № 3–4. P. 395–411).
- 24 См.: Русская старина. 1903. Т. 116 (окт.–дек.). С. 341–342.
- 25 См.: *Измайлов Н.В.* Указ. соч. С. 185. Напомним, что окончание белой рукописи «Медного Всадника» имело место в ночь с 31 октября на 1 ноября 1833 г.
- 26 См.: *Розанов М.Н.* Итальянский колорит в «Андреоло» Пушкина // Сб. ст. К 40-летию ученой деятельности акад. А.С.Орлова. Л., 1934. С. 377–389.
- 27 См.: Макиавелли в России: Восприятие на рубеже веков. М., 1996.

Москва

Николая Александровича Бердяева

В год 140-летия Николая Александровича Бердяева (1874–1948) московские философы и историки-краеведы должны в очередной раз отметить тот факт, что Бердяев, родившийся в Киеве и скончавшийся в Кламаре под Парижем, был по своему складу в значительной мере «москвичом»¹. Таковым его сделала в том числе уникальная роль в интеллектуальной жизни Москвы, особенно в последние перед высылкой из большевистской России годы.

Увы, Москва пока не потрудилась установить ни одного мемориального знака Бердяеву (заметим, это сделано не только в его родном Киеве, но и в Житомире, Судаке), а с его московскими адресами до сих пор имеет место неприличная путаница – даже в изданиях, претендующих на академичность. Юбилейный год – хорошее время, чтобы разобраться с московскими (весьма содержательными) фрагментами жизни Бердяева, и сделать это должны профессиональные краеведы в содружестве с историками русской философии.

Н.А.Бердяев в первый раз относительно надолго поселился в Москве осенью 1908 г.², когда, приехав из Санкт-Петербурга (и получив там опыт работы в журналах «Вопросы жизни» и «Новый путь»), начал сотрудничать в «Московском еженедельнике», издаваемом М.К.Морозовой и кн. Е.Н.Трубецким. Тогда Бердяевы (Николай Александрович вместе со второй женой Лидией Юдифовной, урожденной Трушевой, в первом браке – Рапп³) поселились в меблированных комнатах Тимофеевой в доходном доме на углу Кривоколенного и Армянского переулков.

В большинстве изданий ошибочно говорится, что проживали они по адресу «Армянский переулоч, д. 1» – на самом деле, вход в двухкомнатную квартиру Бердяевых был со стороны Кривоколенного переулоча, д. 8. Дело в том, что один из самых знаменитых в Москве доходных домов – «дом Микини» (или «дом-корабль», как его часто называют) – это два разных здания двух разных архитекторов, хотя и построенные в едином «стиле модерн» в 1901–1905 гг. Дом со стороны Армянского переулоча построен В.А.Властовым для владельца М.М.Лернера; дом же со стороны Кривоколенного проектировал архитектор П.К.Микини для своего брата – подполковника инженерно-технической службы В.К.Микини. Все письма, отправленные Бердяевым с этого адреса в 1908–1911 г., однозначно помечены: «Кривоколенный переулоч, дом Микини»; сюда же приходила и корреспонденция на его имя.

Добавим, что дом, где жили тогда Бердяевы, имеет свою историю. В 1797 г. здесь, у графа А.Ф.Сантис (сардинского аристократа, отличившегося на русской службе), снимало квартиру лютеранское семейство Пестелей – московский почтмейстер Иван Борисович с женой Елизаветой Ивановной (урожденной Крок) и тремя малолетними сыновьями; в тот год их первенцу Паулу (будущему декабристу Павлу Пестелю) было четыре года. В 1831 г. наследники Сантис продали владение Екатерине Львовне Тютчевой, матери Ф.И.Тютчева (кстати, любимого поэта Бердяева), которая жила здесь до 1840 г. Сменив затем нескольких владельцев, дом в 1856 г. перешел в собственность Михаила Никифоровича Каткова – магистра философии, известного московского издателя и публициста. Здесь, по адресу «Кривоколенный, д. 8», Катков, вместе со своим другом и единомышленником, историком и филологом П.М.Леонтьевым, издавал «Русский вестник», а потом и «Московские ведомости».

О жизни Н.А.Бердяева в маленькой квартирке в Кривоколенном переулочке осталось мало свидетельств. Одно из них принадлежит Е.К.Герцкык: «...Всегда острое безденежье – но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему (Бердяеву. – А.К.) барственности. Всегда элгантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг – тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина»⁴.

В период проживания в «доме Микини» Бердяев иногда, для удобства общения, снимал номера в меблированных комнатах «Княжий двор», расположенных на территории городской усадьбы князей Голицыных на углу Волхонки и Малого Знаменского переулка. Именно здесь обычно останавливались иногородние участники заседаний Московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, одним из организаторов которых был Бердяев. Часто бывал он в те годы и в московских особняках меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, щедро спонсирующей работу МРФО: на Смоленском бульваре; на Знаменке, д. 11 (там некоторое время работало издательство «Путь»); в новом особняке Морозовой в Мертвом (Пречистенском) переулке, д. 9 (здесь теперь расположено посольство Дании)⁵. Помнит Бердяева и флигель усадьбы Хрущева-Котлярева на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре, д. 31. Здесь в 1910–1916 г. жил один из лидеров символистов Андрей Белый и существовало издательство «Мусагет»⁶.

Начиная с 1909 г. Н.А.Бердяев читал лекции в Университете имени А.Л.Шанявского, который располагался сначала в городской усадьбе Голицыных (отдельный вход был со стороны Волхонки), а потом и в новом здании на Миусской площади.

Примерно в те же годы Бердяев увлекся богословскими спорами, которые обычно проходили по воскресеньям в некоторых московских трактирах – т. наз. «ямах»⁷. Есть достоверные свидетельства о посещениях Бердяевым одной из таких «ям» – трактира Чуева на углу Рождественки и Софийки⁸. Превращению этого рядового заведения в своего рода клуб способствовали два приятеля – известный всей Москве букинист А.А.Астапов и историкограф Н.П.Бочаров (автор книги «Москва и москвичи»). Астапов имел тогда книжную лавку рядом с церковью Троицы в Полях у ворот Китай-города (на этом месте был потом поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову). По воскресеньям Бочаров шел к Астапову за очередной порцией редких изданий, и пока приказчики разыскивали нужные книги в обширных астаповских развалах, приятели отправлялись на Рождественку в находившийся в каких-нибудь трехстах метрах трактир Чуева. Очевидец вспоминал: «Приятели сделали “Яму” своей резиденцией. Около них всегда масса знакомых. Сидят, беседуют. От книги и русской старины один шаг до Бога. Даже шага нет. Русский простой человек

именно в трактире больше всего любит говорить о божественном. За “книжниками” в трактир потянулись богоискатели⁹. Говорили, на «чаепития» в чужескую «Яму» в последние годы жизни любил заходить сам Владимир Сергеевич Соловьев. А в начале 1910-х гг. завсегдатаями богословских споров в «Яме» на Рождественке стали Н.А.Бердяев и С.Н.Булгаков¹⁰.

Атмосферу религиозных споров в «Яме» описала Е.К.Герцык, несколько раз сопровождавшая Бердяева: «...Собирались сектанты разных толков, толстовцы, велись прения... Кругом за столиком с пузатыми чайниками слушатели больше мещанского вида, но иногда и любопытствующие интеллигенты: религия в моде. Споры об аде: где он, реален или в душе?... Это – мистики, для них смерти уже нет, и греха нет... Сколько индивидуальностей, столько вер. Та же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть и более подлинная. Случалось, когда посторонние разойдутся, останутся только самые заядлые, сдвинут столики, и Бердяев острыми вопросами подталкивает, оформляет их мысль, а потом не казенным, своим огненным словом говорит о церкви, о вселенскости»¹¹.

Особый период в московской жизни Бердяева – месяцы, проведенные в 1913–1914 гг. в особняке его друзей Гриневичей в Савеловском (ныне Пожарском) переулке. Некоторые биографы, основываясь на упоминаниях о «жизни на Остоженке», ошибочно помещают искомый дом на улице Остоженка (и, разумеется, не могут его точно указать), путая собственно улицу и одноименный район Москвы. На самом деле, дом Гриневичей находился по адресу «Савеловский переулок, д. 10» – действительно, совсем рядом с Остоженкой.

Вера Степановна Гриневич, урожденная Романовская, дочь коменданта Судакской крепости, была хорошо знакома с семьей Бердяевых через сестер Евгению и Аделаиду Герцык. Женщина, хорошо образованная и имеющая средства (муж, Павел Иванович, – богатый полтавский помещик), она была увлечена гуманитарно-просветительскими проектами и новейшими методиками детского обучения. В 1907–1908 гг. она организовала в Санкт-Петербурге издательство; позднее, после переезда в Москву, задумала открыть в своем доме гимназию для девочек с церковно-философским уклоном в память о Владимире Сергеевиче Соловьеве.

Гриневич предложила тогда не имевшим жилья в Москве Бердяевым пожить в ее доме. За отсутствием свободных комнат, она поселила их первоначально в большой парадной зале, которая некоторое время служила гостям и кабинетом, и столовой, и спальней. В феврале 1913 г. Евгения Герцык писала в Петербург Вячеславу Иванову: «Живу я теперь в гимназии Веры Степановны, все еще создающейся ее фантастической гимназии, и здесь же мы поселили Бердяевых, и живем пока как странники»¹².

Просветительно-педагогический проект Веры Гриневич, увы, не реализовался. В главе своих воспоминаний «Вера» Е.К.Герцык писала об этом: «Она (В.С.Гриневич. – А.К.) захвачена идеей создать школу, пронизанную евангельским духом любви и братства, истиной народной... Старинный особняк на Остоженке. Уют старого барства. Школа им. Вл. Соловьева. К идейному участию привлечены эпигоны славянофильства: памятные москвичам фигуры из дворянских переулочков. Менее всего заметны в школе дети... Перебои в уроках... Химера – эта школа на Остоженке, как и многое, что возникало в те обреченные годы (это был 913-ый)»¹³.

При всем при этом, «особняк Гриневичей» явно недооценен биографами Бердяева – некоторые из них даже считают, что дом вообще не сохранился. На самом деле, особняк второй половины XIX в., перестроенный архитектором Б.Н.Кожевниковым в 1907 г. и имеющий сегодня адрес «Пожарский переулок, д. 6» (нумерация домов в прошлом веке сместилась, что и вводит подчас в заблуждение), – это и есть искомый «старинный барский особняк», где Н.А.Бердяев жил в 1913–1914 гг. Подтверждением этому служат старые фотографии из знаменитого собрания Э.В.Готье-Дюфайе. Среди них есть по меньшей мере две¹⁴ с видами Савеловского переулка «снизу» – от Нижнего Лесного (ныне Курсового) переулка по направлению к Остоженке, и относящиеся как раз к 1913 г. Богатый дом Гриневичей виден здесь четко, и иных «старинных барских особняков с садом» на этой, четной, стороне переулка попросту нет. Проведенная на рубеже 1970–1980-х гг., а затем в 1990-х гг. реставрация усадебного комплекса (о чем знатоки Москвы знают) была сделана, по-видимому, на основании аутентичных чертежей¹⁵.

Установление этого обстоятельства достаточно важно, поскольку, по нашему мнению, именно в «доме Гриневичей» в Савеловском переулке Бердяевы и отмечали наступление нового, 1914-го года – торжество, не раз описанное в мемуарной литературе, как крайне важное для многих его участников.

Так, Лидия Иванова, дочь Вячеслава Иванова, приехавшая в середине 1913 г. из Рима в Москву поступать в консерваторию (осенью к ней присоединились сам Иванов, его новая жена Вера Шварсалон с маленьким сыном Дмитрием) вспоминала: «Зимний сезон 1913/14 в Москве был необычайно возбужденный и радостный. Было ли это подсознательным предчувствием, что идет последний светлый и беспечный год? Или у всех были точно завязаны глаза? Люди жадно веселились: театры, концерты, а главное, балы: всем хотелось танцевать»¹⁶. По свидетельству Ивановой, ей особенно запомнился «бал у Бердяевых», где она появилась в сшитом Верой Шварсалон костюме итальянской цветочницы: «Бердяевы – Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна и ее сестра Евгения Юдифовна Рапп – жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера “балами”. Но на святках 1913/14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже костюмированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали»¹⁷.

Однако тот «бал» запомнился Лидии Ивановой не только веселыми развлечениями: «Но тут словно бы мимоходом прошла какая-то туча, которую, однако, не все заметили. В тот год появился в Москве Бог знает откуда какой-то мистик, высокий старик-швед с пышной бородой, длинными волосами, как-то странно одетый. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых. Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны (Бердяевой. – *А.К.*): “Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 год открывает катаклизм, целый мир рушится...” И прочее в этом духе»¹⁸.

Эти мемуары можно дополнить воспоминаниями самого Н.А.Бердяева, который написал в «Самопознании», что «таинственный швед» поселился у них в доме за несколько дней до новогоднего бала: «Очень запомнился мне один очень яркий человеческий образ. Однажды вошел к нам в столовую во время завтрака таинственный человек. Все почувствовали странность его появления. Это был *nordischer Mensch* (человек нордического типа. – А.К.), напоминающий викинга: огромного роста, очень красивый, но уже среднего возраста, с падающими на плечи кудрями, одетый в плащ. На улице он ходил без шляпы. Когда мы ходили с ним по Москве, то он обращал на себя всеобщее внимание... Он оказался шведским врачом Любеком. Он специально был направлен ко мне и проникся ко мне большой симпатией. Более всего поражал Любек своей пронизательностью, близкой к ясновидению... Любек встречал с нами Новый год, это был канун 1914 года... Было большое общество, и все пытались делать предсказания на следующий год. О войне никто не думал. Любек сделал следующее предсказание. В наступающем году начнется страшная мировая война, Россия потерпит поражение и будет обрезана в своей территории, после этого будет революция»¹⁹. Сбылось впоследствии и другое предсказание д-ра Любека – о том, что сам Бердяев скоро станет профессором Московского университета! Тогда это тоже казалось немыслимым: ведь Бердяев не имел не только докторской, но и магистерской степени. Тем не менее, в 1920 г. это случилось!

В Москве до начала 1960-х гг. существовал еще один «бердяевский адрес» – дом Аделаиды Герцык и ее мужа Д.Е.Жуковского в Кречетниковском переулке²⁰, где Николай Александрович, приезжая в Москву из имения Бабаки под Харьковом, несколько раз останавливался в первую военную зиму 1914–1915 гг., пытаясь найти стабильный журналистский или лекторский заработок. В январе 1915 г. он приехал сюда в очередной раз с Лидией Юдифовной – как они думали, всего на несколько дней. Евгения Герцык, также жившая тогда в доме в Кречетниковском, вспоминала: «Квартира в переулке у Новинского <бульвара>, снежные сугробы во дворе. Жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся. С приездом Бердяевых хлынули люди, закипели споры. В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он

доспаривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар. Приезжие из Петербурга, с фронта»²¹.

Е.Герцык свидетельствует: в те недели неожиданно дали о себе знать польские корни и полонофильские симпатии Бердяева; многие близкие впервые узнали, что его крестной матерью была графиня Елизавета Красинская (в девичестве Браницкая), жена знаменитого польского поэта Сигизмунда Красинского, наследника таланта и политических убеждений Адама Мицкевича. «Новыми были хлынувшие из Варшавы беженцы-поляки, у некоторых из них создается живой контакт с Бердяевым, разговор переходит на французский язык, на очереди вопросы польского мессианизма. На нашем давно молчавшем пианино играет Шимановский, талантливый композитор-новатор... Николай Александрович глубоко переживал трагическую судьбу этого народа. Вообще в это время у него обострился интерес к вопросам национальностей. Не так, как у славянофилов или тогдашних эпигонов их, чувствующих только одну свою народность – он же остро вникал в особенности каждой нации... Но так же, как шовинизм, ненавистен ему и пацифизм, уклонение от ответственности за судьбу родины. Любовь к России как вино ударила ему в голову»²².

Перейдем, наконец, к описанию последнего, самого длительного и насыщенного этапа пребывания Н.А.Бердяева в Москве – того периода, когда он жил в ставшем, благодаря ему, знаменитом доме в Большом Власьевском переулке. Увы, именно этот, последний московский адрес Бердяева стал предметом уникальной в своем роде путаницы, не делающей чести некоторым «биографам»²³.

Есть немало свидетельств тому (в первую очередь, это личная переписка Н.А.), что Бердяевы поселились по адресу «Большой Власьевский переулок, д. 14, кв. 3» в конце сентября 1915 г. Этому предшествовали долгие поиски подходящей квартиры: ведь там предстояло разместиться не только Николаю Александровичу (с разросшимся архивом и библиотекой), Лидии Юдифовне и Евгении Юдифовне, но и больному отцу Бердяева Александру Михайловичу, который после смерти в 1914 г. старшего сына Сергея

остался в Киеве один. Наконец, нужная квартира из шести комнат была найдена: она состояла из трех спален, кабинета (где Бердяеву на ночь стелили на диване), гостиной и столовой. Часть окон выходила в переулок; другая часть, в том числе окна кабинета Бердяева – во двор, где стоял (и стоит сейчас) другой примечательный дом, имеющий свою историю.

В литературе о Бердяеве часто можно встретить утверждение, что последние перед высылкой годы он жил в «бывшем доме Герцена» (детали варьируются). На самом деле, дом, действительно связанный с семьей Герцена, находится во дворе «бердяевского» дома (сейчас он, надстроенный одним этажом, значится по адресу «Большой Власьевский, д. 14, корп. 2»). Александр Иванович Герцен, как известно, родился в 1812 г. в доме дяди на Тверском бульваре. В 1824 г. Иван Алексеевич Яковлев (отец Герцена) приобрел, наконец, собственный дом в обширном дворе между двумя Власьевскими переулками. Здесь А.И.Герцен прожил с родителями почти десять лет, до 1833 г., когда его отец купил у графини Растопчиной особняк на Сивцевом вражке (т. наз. «большой дом»).

То, что «дом Бердяева» и «дом Герцена» не следует путать, убеждают многочисленные мемуары. Ограничимся здесь лишь воспоминаниями литератора Бориса Зайцева, часто посещавшего квартиру Бердяева в послереволюционные годы и хорошо знавшего настроения «бердяевского кружка»: «Раз меня поразило определенно отрицательное отношение к Герцену. Дело было так. Окно кабинета Николая Александровича во Власьевском переулке выходило вглубь двора. Там стоял дом. Во время европейской войны там помещался госпиталь. Затем туда вселился неизвестно кто. Домик подвергнулся разграблению, кажется, был частично пожар, а затем дом стал разрушаться, стоял без окон и дверей. Это был дом, в котором одно время жил Герцен, его только не следует смешивать с домом, в котором родился Герцен, на Тверском бульваре. Все стояли у окна кабинета. Бердяев сказал, смотря на остатки здания: “Вот плод взглядов Герцена – достойный пример того, к чему вели Россию Герцен и иже с ним”. Букштин (?) и Грифцов сочувственно подхватили слова Бердяева»²⁴.

Дом Бердяева в Большом Власьевском переулке находился совсем рядом с Церковью св. священномученика Власия Севастийского, активным членом приходского совета которой Нико-

лай Александрович являлся (Лидия Юдифовна, принявшая летом 1918 г. католичество, стала прихожанкой греко-католической общины В.В.Абрикосова²⁵).

А между жилищем Бердяевых и оградой храма св. Власия росли великолепные вековые дубы, каждый из которых имел свое имя²⁶ и несомненно помнящие еще юного Герцена. Автор этой статьи склонен с большой долей уверенности утверждать, что именно эти дубы (а, возможно, какой-то из них конкретно) воодушевили Бердяева на написание одного из его самых знаменитых текстов тех лет.

Дело в том, что одной из первых работ Н.А.Бердяева, написанной в квартире в Большом Власьевском, стала статья «Дух и машина», первоначально опубликованная в газете «Биржевые ведомости» за 12 октября 1915 г. и включенная затем Бердяевым (в качестве завершающей) в знаменитый сборник «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности»²⁷. Эту статью, направленную против ставших популярными в первые месяцы мировой войны неославянофильских утверждений о превосходстве «русского духа» перед «германской машиной», Бердяев начинает словами: «Никогда еще так остро не стоял вопрос об отношении духа и машины, как в наши дни. Мировая война очень заостряет эту тему. Наши споры о германизме вращаются вокруг темы – дух и машина. Нельзя отрицать, что в Германии было много духа, и Германия же пришла к самым совершенным образцам механизации и машинизации. Германская машина, как бы выброшенная из недр германского духа, идет впереди, она задавала тон в жизни мирной, а теперь задает тон в войне»²⁸. «Но можно ли сказать, что дух погибает в этой материализации, что машина изгоняет его из жизни?» – задается вопросом Бердяев. И отвечает: «Я думаю, что это слишком поверхностный взгляд. Смысл появления машины и ее победоносного движения совсем не тот, что представляется на первый взгляд. Смысл этот – духовный, а не материальный. Сама машина есть явление духа, момент в его пути»²⁹.

И далее Бердяев разворачивает целую цепочку умозаключений, метафорическим стержнем которых становится образ «цветущего дуба», несомненно навеянный автору дубовой рощицей перед окнами рабочего кабинета: «Прекрасен цветущий дуб и уродлива машина, оскорбительна для глаза, уха и носа, нимало не радуется. Мы любим дуб и хотели бы, чтобы он унаследовал вечность и что-

бы в вечной жизни мы сидели под цветущим развесистым дубом. Машину же любить мы не можем, в вечности ее увидеть не хотели бы, и в лучшем случае признаем лишь ее полезность. И как соблазнительно желание остановить роковой процесс жизни, ведущий от цветущего дуба к уродливой и смрадной машине»³⁰.

Бердяев, однако, уходит от легковесных противопоставлений и постулирует, что «переход от органичности дерева, от благоухающей растительности к механичности машины, к мертвящей искусственности должен быть пережит и прожит религиозно»: «Чтобы воскреснуть, нужно умереть, пройти через жертву. И переход от органичности и целостности к механичности и расщепленности есть страдальческий, жертвенный путь духа. Эта жертва должна быть сознательно принята. Через нее лишь достигается свобода духа. Машина есть распятие плоти мира, вознесение на крест благоухающих цветов и поющих птиц. Это – Голгофа природы. В неотвратимом процессе искусственной механизации природа как бы искупает грех внутренней скованности и вражды»³¹.

В «Духе и машине» Бердяев утверждает, что его оппоненты-неославянофилы – это «реакционеры-романтики, в тоске и страхе держащиеся за отходящую, разлагающуюся старую органичность, боязливые в отношении к неотвратимым процессам жизни». «И как мало, – восклицает Бердяев, – эти люди верят в дух, в его бессмертие и неистребимость, в его неодолимость темными силами»³².

Образ «дуба» продолжает оставаться центральным звеном и последующих рассуждений Бердяева: «То, что было вечно в дубе..., то преобразится и пребудет в духе, то сохранит свою непреходящую форму, освобожденную от материальной тяжести и скованности... Истинная жизнь – творимая жизнь, а не исконно данная жизнь, не органически элементарная, животно-растительная жизнь в природе и обществе»³³. Бердяев завершает статью словами: «В старый рай под старый дуб нет возврата... Если Россия хочет быть великой Империей и играть роль в истории, то это налагает на нее обязанность вступить на путь материального технического развития. Без этого решения Россия попадет в безвыходное положение. Лишь на этом пути освободится дух России и раскроется ее глубина»³⁴.

Обстановку бердяевской квартиры в Большом Власьевском описала в своих «Воспоминаниях» Е.К.Герцык: «Вечер. Знакомыми Арбатскими переулочками – к Бердяевым. Квадратная комната

с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины: красивые и приветливые – жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа слева стопки книг. Сколько их: ближе – читаемые, заложенные, дальше – припасенные вперед. Разнообразия: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон-Новый богослов, труды по физике, а поодаль непременно роман на ночь – что-нибудь изысканное у букиниста: Мольмот Скиталец. Прохаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости – мы вместе его в Риме купили. Дальше на стене акварель – благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева: родовитая киевлянка, еще молодой она подпала под влияние схимника Парфения»³⁵.

А писатель Б.К.Зайцев оставил заметки об «обществе», собиравшемся у Бердяева в последние перед высылкой из России годы: «Окружение Бердяева было всегда очень интересным, он ценил людей по их значимости, а не по степени близости их к собственным его взглядам. Можно сказать, что при всем многообразии лиц, являвшихся постоянными посетителями Бердяева, было что-то общее у всех. Они разделяли многие симпатии и антипатии, в иных вопросах они точно вперед сговорились. Из гениев русской культуры Бердяев и его окружение больше всего ценили Достоевского и Вл. Соловьева»³⁶.

С Н.А.Бердяевым связаны, разумеется, и многие другие адреса в Москве. Назовем, конечно, храм Святителя Николая в Кленниках в начале Маросейки, где служил духовник Бердяева, старец в миру Алексей Мечев. В 1922 г. он благословил высылаемого из России Бердяева: «Вы должны ехать. Ваше слово должен услышать Запад».

Нельзя обойти вниманием и квартиру композитора А.Н.Скрябина по адресу «Николопесковский переулок, д. 11», которую часто посещали Бердяевы (сегодня здесь мемориальный музей с сохранившейся обстановкой тех лет).

Два московских адреса: Леонтьевский переулок, д. 16 и Большая Никитская, д. 24 (оба дома сохранились) связаны с работой Бердяева в 1918–1922 гг. в так наз. «Лавке писателей», книготорговом предприятии на паях, где, помимо него сотрудничали М.А.Осоргин, Б.К.Зайцев, Б.А.Грифцов и др.

...Старая Москва запомнила самобытный облик Николая Александровича Бердяева: «высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривой, высоколобый, щеками румяными, с черной бородкой и синим, доверчивым глазом» (Андрей Белый о «ранне-московском» Бердяеве); «в светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета с полями, в таких же перчатках и с палкой» (он же о Бердяеве-москвиче позднего периода).

Современная Москва в долгу перед прославившем ее замечательным мыслителем и гражданином.

Примечания

- ¹ Бердяев неоднократно – и до вынужденной эмиграции, и позже – писал, что «умственная насыщенность московской жизни» ближе ему по духу, чем жизнь в Санкт-Петербурге, Берлине или Париже. Впервые методология «философского краеведения» была применена автором этой статьи к изучению жизни и творчества Б.К.Зайцева (См.: *Кара-Мурза А.А.* Данте и Пушкин (Флорентийско-московские размышления Б.К.Зайцева // Россия, история, политика: к 80-летию И.К.Пантина. М., 2010. С. 133–154).
- ² В некоторых из своих многочисленных (и весьма противоречивых) мемуаров Андрей Белый утверждал, что Бердяев «появился в Москве в 1905–1906 гг.», но это является или очевидной ошибкой памяти, или нередкой для Белого-мемуариста небрежностью. Наиболее авторитетным свидетельством в этом смысле мне представляются воспоминания всегда точной в деталях Евгении Казимировны Герцык, которая относит переезд Бердяева в Москву именно к осени 1908 г.: «Он (Бердяев. – *А.К.*) был бездомным, только что порвавшим с петербургским кругом модернистов... Бездомный, переживший лихорадку отворачивания и вдруг опять помолодевший, посветлевший, полный творческого бурления – как он мне был нужен такой весной девятого года... С осени (курсив мой. – *А.К.*) он с женою поселился в Москве, в скромных меблированных комнатах...» (*Герцык Е.К.* Воспоминания. Париж, 1973. С. 120).
- ³ В начале 1903 г., отбывая ссылку в Житомире, Бердяев венчался с дочерью губернского почтмейстера В.А.Семенова – Еленой Васильевной. У них родилась дочь, которая, к несчастью, вскоре умерла и была похоронена на одном из житомирских кладбищ. Второй брак Бердяева был, как известно, гражданским.
- ⁴ *Герцык Е.К.* Воспоминания. С. 120.
- ⁵ Именно в этом особняке, специально перестроенном М.К.Морозовой для заседаний МРФО, 26 мая 1917 г. прошло заседание в память о недавно умершем В.Ф.Эрне. Одним из главных докладчиков выступил Н.А.Бердяев.
- ⁶ Здесь, например, 26 января 1911 г. состоялась известная дискуссия Бердяева с Ф.А.Степуном после доклада Элліса (Л.Кобылинского) об отношениях католицизма и символизма.

- ⁷ «Ям» в Москве было несколько. В «Самопознании» сам Бердяев вспоминает трактир в Мясницкой части, около церкви Фрола и Лавра. См.: *Бердяев Н.А. Самопознание* (опыт философской автобиографии). М., 1990. С. 180.
- ⁸ Многие москвичи хорошо знают это место. В 1970–1980-е гг. здесь, в подвале дома на углу Рождественки (тогда улицы Жданова) и Пушечной (я жил тогда в каких-нибудь двухстах метрах) располагалось популярное рыбное кафе «Сардинка», сыгравшее, по воспоминаниям участников, немалую роль в становлении рок-группы «Машина времени».
- ⁹ *Панкратов А.С.* Ищущие Бога. Очерк современных исканий и настроений. М., 1911 (цит. по: Н.А.Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб., 1994. С. 35–36).
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ *Герцык Е.К.* Воспоминания. С. 122.
- ¹² *Сестры Герцык.* Письма. СПб., 2002. С. 606.
- ¹³ *Герцык Е.К.* Воспоминания. С. 125.
- ¹⁴ В коллекции члена Императорского Московского археологического общества Эмиля Владимировича Готье-Дюфайе эти фотографии значатся под номерами 2329/52 и 2485/16.
- ¹⁵ В 1999 г. Постановлением Правительства Москвы за подписью мэра Ю.М.Лужкова усадебный комплекс на правах долгосрочной аренды был передан некоему ООО «Сол-ТН».
- ¹⁶ *Иванова Л.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 54.
- ¹⁷ Семнадцатилетняя Лидия Иванова, лишь полгода назад приехавшая тогда в Москву, еще несколько путается в московской топографии. «Бал у Бердяевых» имел место, без всякого сомнения, в особняке Гриневичей в Савеловском переулке – т. е. не «*между Арбатом и Остоженкой*», а между Остоженкой и Москвой-рекой. «Чудный двухцветный зал прекрасной архитектуры» – это и есть первоначальное жилище Бердяевых в доме Гриневичей.
- ¹⁸ *Иванова Л.* Воспоминания. С. 54.
- ¹⁹ Так, во вкладке иллюстраций к очень добротной в целом книге О.Д.Волгогоновой о Бердяеве из серии «ЖЗЛ» (вкладке, сделанной, по утверждению автора, без согласования с ней) помещена фотография с подписью, являющейся верхом некомпетентности: «Власьевский переулоч в Москве. Церковь Успения на Могильцах. Рядом, в доме 4, жили Бердяевы». На самом деле, Бердяевы жили в доме № 14 по Большому Власьевскому переулку рядом с церковью св. Власия, т. е. весьма далеко от изображенного на фото храма Успения Божьей Матери на Могильцах. Путаница с адресами Бердяева перекочевала и в «Хронику жизни и творчества Н.А.Бердяева», приложенную к совсем свежему тому о Бердяеве в серии «Философия России первой половины XX века». Автор «хроники» почему-то относит к 1916 г. «*переезд в Москву, в квартиру в Малом Власьевском переулке, 14, кв. 3*» (См.: *Николай Александрович Бердяев.* М., 2013. С. 508). Здесь в одной строчке сразу две ошибки: в *Большом* Власьевском переулке Бердяев поселился в *конце сентября 1915 г.* Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе достаточно посмотреть материалы двух арестов и последующих допросов Н.А.Бердяева в 1920 и 1922 гг., где везде значится один и тот же официальный адрес: «Большой Власьевский переулоч, д. 14».

- 20 См.: *Н.А.Бердяев: pro et contra*. Антология. Кн. 1. СПб., 1994. С. 64. Добавим только, что «Букштин» у Зайцева – это наверняка Яков Михайлович Букшпан, экономист, участник (вместе с Бердяевым) известного сборника 1922 г. «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (расстрелян в 1939 г.)
- 21 В сентябре 1922 г. В.В.Абрикосов был выслан из России тем же самым «фило-софским пароходом», что и Бердяевы.
- 22 Один из этих уникальных дубов, ставший достопримечательностью старой Москвы, растет во дворе дома Бердяева до сих пор. Это дуб «Филимон», которому более 200 лет, что удостоверяет поставленная горожанами табличка. «Филимон» стал героем московского фольклора, что передал в своем стихотворении поэт-москвич Илья Фаликов: «Дуб по имени Филимон посреди безымянной флоры, // Посреди безымянной флоры дуб по имени Филимон // Он единственный старожил – проходимцы, фигляры, воры, // Финансисты, гипнотизеры напирают со всех сторон. // Уроженец, абориген, не захватчик и не лимитчик, // Не хомячит куски халявы, не добытчик и не купец, // Не выдумывает родни, с документами не химичит, // Не накручивает на спиле не своих годовых колец...» (Новый мир. 2012. № 8).
- 23 *Бердяев Н.А.* Самопознание (опыт философской автобиографии). С. 183–184. Добавлю, что доктор Эдвард Вильгельм Любек, известный врач-психиатр, имевший в Финляндии клинику-санаторий для лечения нервных болезней, в июне 1919 г. покончил жизнь самоубийством.
- 24 Этот дом по адресу «Кречетниковский переулок, д. 13» просуществовал вплоть до начала 1960-х гг. И был снесен (как и весь окружающий его квартал) при прокладке Нового Арбата.
- 25 *Герцык Е.К.* Воспоминания. С. 132–133.
- 26 Там же. С. 133.
- 27 *Бердяев Н.А.* Дух и машина // *Бердяев Н.* Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 233–240.
- 28 Там же. С. 233.
- 29 Там же.
- 30 Там же. С. 236.
- 31 Там же. С. 236–237.
- 32 Там же. С. 237.
- 33 Там же. С. 239.
- 34 Там же. С. 240.
- 35 *Герцык Е.К.* Воспоминания. С. 117. Бабка Бердяева по отцу, урожденная княжна Бахметьева, еще при жизни мужа, генерала М.Н.Бердяева, приняла монашеский постриг.
- 36 *Н.А.Бердяев: pro et contra*. С. 64.

Москва Федора Августовича Степуна

В 2014 г. исполнилось 130 лет со дня рождения в Москве философа, социолога, художественного критика, блестящего литератора и мемуариста, одного из «последних могижан» Серебряного века русской культуры Федора Августовича Степуна (1884–1965). Задачей данной статьи является исследование одной из основных «идентичностей» Степуна – *московской*¹, связанной с городом, где он родился, где он многие годы жил и из которого он, на одном из «философских паровозов» (в отличие от некоторых своих друзей, уплывших на чужбину морем), отправился в 1922 г. в изгнание.

Получившие известность в новой России эмигрантские мемуары Степуна «Бывшее и несбывшееся»² начинаются удивительным описанием калужской глубинки, где автор провел детство: «На высоком берегу впадающей в Угру Шани, трудолюбиво обслуживающей турбины писчебумажной фабрики, стоит построенный покоем и выкрашенный в желтый цвет просторный двухэтажный дом...»³ Литературное изящество описания провинциальной жизни в Кондрово, где отец Степуна работал директором той самой фабрики, не раз приводило в головах читателей (и даже некоторых исследователей) к невольной аберрации сознания: многие до сих пор искренне считают Степуна «уроженцем калужской деревни»⁴.

Между тем, сам Ф.А.Степун в «Автобиографическом очерке», написанном в конце жизни для русской эмигрантской молодежи, ясно обозначил свое московское происхождение: «Родился я 6 февраля 1884 г., в Москве, в доме “Человеколюбивого общества” (можно сказать – обязывающее месторождение!)»⁵

Дом Императорского Человеколюбивого общества в Малом Златоустинском переулке, между Мясницкой и Маросейкой, был построен в 1877–1878 гг. в стиле псевдоготики по проекту архитекторов Виктора Ивановича Веригина и Генриха Богдановича Пранга для приюта детей воинов, убитых на русско-турецкой войне. Позднее здесь разместилась лечебница для неимущих больных, некоторые учреждения и общественные организации, а часть помещений была отдана под недорогое жилье⁶. В одной из таких квартир, в семье инженера-лютеранина Августа Степпуна (именно так писалась фамилия: *Steppuhn*) и его жены Марии Степпун, урожденной Аргеландер⁷, 6(18) февраля 1884 г. родился их первенец Фридрих (русское имя Федор он возьмет позднее). Крестили мальчика неподалеку – в немецкой реформатской церкви в Трехсвятительском переулке⁸. Август Степун останется верующим лютеранином вплоть до своей кончины в 1914 г.; его старший сын Фридрих, по настоянию русофильски настроенной матери, в 1895 г. будет перекрещен в православие в Кондрово, в храме Спаса Нерукотворного⁹.

В 1894 г., после семи лет, проведенных на берегах провинциальной Шани, родители привезли одиннадцатилетнего Фридриха и его десятилетнего брата Оскара (впоследствии инженера-химика) в Москву, поступать в престижное в среде технической интеллигенции реальное училище при Евангелической лютеранской церкви св. Михаила¹⁰. Степун впоследствии вспоминал: «Поездки в Москву не помню. Вероятно потому, что в мечтах уже задолго до отъезда покинул Кондрово и жил страстным ожиданием столицы. Как пытливо я ни расспрашивал о Москве, она оказалась для меня полною неожиданностью. Впервые увиденная и, главное, *услышанная* (курсив мой. – А.К.) мною Москва, встает в памяти ярким, ярмарочным лубком»¹¹.

Действительно, еще больше, чем лубочные *краски* Москвы, поразили мальчика резкие и непривычные *звуки* Москвы: «Площадь перед Курским вокзалом встречает нас оглушительным шумом. Дребезжание полков и пролеток еще на железном ходу сливается с цоканьем подков по булыжнику и диким галдежом извозчиков... Мы нанимаем огромное допотопное ландо, запряженное парюю жирафообразных вороных кляч и, не слыша собственного слова, в страшном беспокойстве... медленно трусим по узким переулкам и широким площадям к нашей гостинице»¹².

Жанр «философского краеведения», в котором написана данная статья, подразумевает расшифровку описываемых мемуаристом пространственных пунктов. «Наша гостиница», о которой пишет Степун, – это почти наверняка популярный среди немецких гостей первопрестольной отель «Берлин» на углу Рождественки и Варсонофьевского переулка¹³. Предположив это, уже нетрудно отыскать и балкончик четвертого этажа, с которого мальчик Фридрих, с непривычной для выросшего в провинции подростка высоты, наблюдал доступную его тогдашнему глазу вечернюю Москву: «Мама и фрейлейн Штраус распаковывают чемоданы. Я с балкона четвертого этажа взволнованно смотрю на спускающуюся под гору Рождественку. Широкие лошадиные спины рыбами проплывают по каменному дну бездны. Ноги сплюснутых карликов непривычно шмыгают из-под шляп и картузов. От фонаря к фонарю бегают согнутая фигурка с лестницею на плечах, населяя быстро темнеющую от желтых огней бездну призрачно скользящими тенями... На меня, еще не видавшего мира вне той природно-канонической перспективы, к которой нас приучает плоская деревня, необычный образ как-то “кубистически” погружающегося в ночной хаос города произвел огромное и притом жуткое впечатление»¹⁴.

Семилетняя учеба в реальном училище при лютеранской церкви св. Михаила (Степуну эта кирха всегда напоминала «гигантскую серокаменную улитку») сформировала у него еще одну «локальную идентичность», важную для личностного ощущения будущего философа и литератора. Это – самоидентификация с лефортовской Москвой, бывшей Немецкой слободой, куда Фридрих каждое утро добирался с братом из центра через Маросейку, Покровку, Земляной Вал... Позднее, уже в послереволюционной Москве, а потом и в эмиграции, в его голове часто оживали воспоминания «о тех ранних темных утрах, которыми мы с братом в продолжение многих школьных зим сидели в допотопную конку, еле освещенную двумя маленькими керосиновыми лампочками по углам»¹⁵.

Лефортовская Москва в описании Степуна очень отличается и от дворянских кварталов Пречистенки, Поварской, обеих Молчановок; и от интеллигентско-профессорского Арбата; и от Замоскворечья, где «тяжело спало (от переизбытка) старозаветное купечество»;

и от Марьиной рощи, в которой «заливалась мешанская гармоника», и от Пресни, где «уже зарождался красный рабочий»¹⁶. Особая атмосфера Лефортово чувствовалась сразу за границей Земляного города: «Вот Земляной Вал, мост над запасными путями Курской железной дороги, а за ним совсем уже иная Москва..., тихая, провинциальная Москва моих первых школьных лет... Дома в этой тишайшей части Москвы (опять именно *звук* становится важнейшим идентификационным маркером! – *А.К.*) стояли в то время все больше маленькие, одноэтажные, с мезонинчиками, какие-то пестрые коробочки под зелеными крышами... Целых семь лет ходил я по два раза в день по неровным тротуарам лефортовских переулков на Вознесенскую гору: как хорошо, как привольно стояла церковь Вознесения на своем зеленом, садовом островке, среди каменного разлива трех стекавших к ней улиц...»¹⁷.

В годы степуновской юности московское Лефортово уже утратило черты старого «Кокуя» – зажиточные немецкие семьи к тому времени перебрались в более престижные кварталы на Воронцовом поле. Характер района вокруг лютеранской кирхи и Вознесенского православного храма во многом определялся тогда насыщенностью учебными заведениями: женского Елизаветинского института, мужского реального училища и находящихся чуть дальше кадетских корпусов. Эта «юная аура» тогдашнего Лефортово с ностальгией описана зрелым Степуном: «Оживала для нас, реалистов, сонная лефортовская Москва... на Вознесенской горе, там, где среди деревьев старого парка за высокою чугуною оградю белел Елизаветинский институт... С этой институтски-кадетской горы, с горы белых пелеринок и черных мундирчиков, мне в душу и ныне нет-нет да повеет ранне-весенний ветерок грустной романтической влюбленности»¹⁸. Степун вспоминал, как на майских выпускных экзаменах «реальсты» выбегали в перерывы из ворот училища «повертеться перед институтскою оградюю, подышать светлою зеленью весенних тополей... Вольные казаки, мы задорно фланировали по тротуару, поджидая пока девичья карусель выйдет из глубины двора и с лукавыми взорами из-под благонравно опущенных ресниц пройдет совсем близко мимо нас. Кадетам наши штатские вольности были строго запрещены: гордясь своею военною выправкою, они четкою походкою, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь “глаза налево”, быстро проходили мимо институтского двора»¹⁹.

С особой, *московской*, интонацией описал он и момент окончания училища – эта яркая и топографически точная картинка дружеской пирушки на Воробьевых горах является, на мой взгляд, одной из самых тонких в нашей литературе зарисовок «старой Москвы»: «В следующее же после торжественного акта воскресенье летят вниз по Тверской, через празднично-пустынную Красную площадь, по москательско-скобяному Балчугу, по тишайшей провинциальной Ордынке и дальше мимо Нескучного сада к знаменитому ресторану Крынкина три лихацких пролетки... Звонко цокают по булыжнику подковы, мягко подпрыгивают колеса на резиновом ходу, за обещанный “на-чай” от души усердствуют извозчики... Из церквей, под светлый колокольный звон степенно расходится народ. Милый, старомосковский воздух напоен горьковатым запахом буйно цветущей за заборами черемухи. Обедали мы совсем как взрослые: закуска, котлеты “de volaille”, гурьевская каша и к ней две бутылки шампанского, чтобы чокнуться... После чая мы спускаемся к Москва-реке, переправляемся на другой берег и медленно пустырями, пахотами и огородами пробираемся к Новодевичьему монастырю, спасательному пристанищу многих трудных минут моей последующей жизни»²⁰.

Следующий этап московской жизни Степуна – пребывание (правда, очень недолгое) в квартире родителей первой жены, Анны Серебренниковой, с которой они познакомились во время учебы в Гейдельберге: он – на философском факультете, она – в Зоологическом институте. Серебренниковы (в мемуарах Степуна они представлены как «Оловянниковы») – известный в Москве купеческий род, занимавшийся торговлей экипажами и москательным товаром. Именно в доме Аниного отца, А.С.Серебренникова, на Самотечной площади, Степун впервые столкнулся с московским купеческим бытом: «Войдя в Анину семью, я встретился с совершенно чуждым мне миром. Несуразно высившийся среди маленьких домишек декадентский Оловянниковский дом выходил на грязноватую Самотечную площадь, как раз против второразрядного ресторана “Волна”... явно носил следы легкого в России тех времен обогащения и часто связанной с ним безвкусицы»²¹.

Еще сильнее впечатлили молодого интеллектуала-западника старомодные обитатели дома Серебренниковых: «Хотя я по фотографиям и Аниным рассказам и имел некоторое представление

о ее родителях, они при первой встрече все же весьма поразили меня. Культурный и бытовой разрыв между ними и дочерью был так велик, что они как были, так и остались для меня совершенно чужими людьми»²². Особенно типичен был глава семьи, Александр Сергеевич: «В длинном, узком сюртуке, с черною тесемкою вместо галстука, он показался мне классическим европеизированным купцом эпохи Островского. С чужими тихий и молчаливый, он в семье был настоящим деспотом. Направляясь из передней в столовую, он уже в коридоре хлопал в ладоши. При пятом хлопке тарелка супа с мясом, без которого он не признавал обеда, должна была стоять на своем месте... Летом, когда семья жила на даче, богатей Оловянников с удовольствием обедал в грязноватой “Волне”, хотя до первоклассного “Эрмитажа” было рукой подать. Часов в пять он почти ежедневно выезжал на дачу в Медведково в легком шарабанчике, запряженном тяжелым орловцем»²³.

С осени 1907 по весну 1908 гг., приехав из Гейдельберга в Москву дописывать диссертации (Федору для завершения работы по историософии Владимира Соловьева была нужна Румянцевская библиотека), молодые супруги жили уже на съемной квартире. Сведений о ней почти не сохранилось: в мемуарах Степун ограничивается лишь упоминанием о том, что для приема гостей был куплен огромный самовар, а над диваном в кабинете он, как обычно, повесил большой портрет Вл. Соловьева, с которым никогда не расставался и который увез потом в эмиграцию... А летом 1908 г., когда Федор сдавал в Гейдельберге выпускной экзамен, Анна Серебренникова погибла в литовском Ковно (Каунасе), пытаясь спасти подростка, попавшего в стремнину в Немане...

Москва перед мировой войной – отдельная и очень яркая тема Степуна-мемуариста. В отличие от многих современников, называвших период 1907–1914 гг. «потерянным временем», периодом «консервативного отката» и мечтавших о новом «приливе», Степуну нравился цивилизационный рост России, та энергия, с которой «русская жизнь в “темные годы” реакции боролась против интеллигентской революции»²⁴. Литератор, вскоре прошедший окопы первой мировой, уподобил спонтанно развивавшуюся довоенную Москву «ничейной полосе» между охранительством и революционаризмом: «Как в межфронтной полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась

насушенная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905-м годом свободы, выростала какая-то новая, с году на год все крепнувшая жизнь... Силовая станция всероссийской культурной работы находилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий»²⁵.

Москвич Степун был воодушевлен быстрым предвоенным ростом города – как культурным, так и хозяйственным (здесь явно сказались не только философский диплом Гейдельберга, но и аттестат реального училища): «Бульжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал... Молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть... уходили в прошлое милые конки»²⁶.

Немало страниц посвятил Степун описанию впечатляющих изменений городской архитектуры: «Всюду, как грибы после дождя, выростали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатизэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта... На плоской крыше многоэтажного дома Нирнзее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе (на этой смотровой площадке первого городского небоскреба в самом центре Москвы Степун, судя по всему, неоднократно бывал. – *А.К.*). Особенно быстро преображалась “улица святого Николая”, интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься – что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей»²⁷.

Изложение степенуновской «метафизики» предвоенной Москвы²⁸ следует, конечно, дополнить его статьями середины 1930-х гг., посвященными встречам автора с некоторыми выдающимися москвичами-современниками. Когда в январе 1834 г. в Москве скончался Андрей Белый (коренной житель Арбата Борис Николаевич Бугаев), Степун откликнулся на это печальное событие статьей в парижских «Современных записках»: «После внезапного

отъезда Белого из Берлина в Россию, я, думая о Москве, постоянно думал и о нем в ней... С официальной Москвой образ Белого, несмотря на некоторые “коммуноидности” в его последних писаниях, в моем представлении никак не связывался... Нет сомнения – смерть Белого это новый этап развоплощения прежней России и старой Москвы. Это углубление нашей эмигрантской сироты и нашего одиночества»²⁹. В статье 1934 г., посвященной Белому, Степун вновь обратился к своей излюбленной теме – так много обещавшему предвоенному культурному взлету России: «В шла большая, горячая и подлинно-творческая духовная работа. Протекала она не только в узком кругу передовой интеллигенции, но захватывала и весьма широкие слои. Писатели, художники, музыканты, лектора и театралы без всяких затруднений находили и публику, и деньги, и рынок»³⁰. Степун снова подчеркивает глубоко духовный и несомненно демократичный характер этого роста: «В Москве одно за другим возникали все новые и новые издательства – “Весы”, “Путь”, “Мусагет”, “София”... Издательства эти не были, подобно даже и культурнейшим издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они исходили... из велений духа и осуществлялись не пайщиками акционерных обществ, а творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого меценатствующего купечества»³¹.

Об этом же написанный тоже в 1934 г. очерк Степуна о Вячеславе Ивановиче Иванове, живущем тогда в Риме³². Степун не упускал случая подчеркивать (особенно при общении с ревнивыми петербуржцами или малоосведомленными иностранцами) *московское происхождение* Вяч. Иванова, который родился в маленьком домике у Зоосада на углу Егорьевского и Волкова переулков, был крещен в храме Георгия Победоносца в Грузинках, с золотой медалью окончил Первую московскую гимназию и, прежде чем уехать доучиваться за границу, два года слушал курс на историко-филологическом факультете Московского университета³³. В очерке об Иванове 1934 г. Степун не в первый раз припомнил парадоксальную мысль Фридриха Шлегеля³⁴ о том, что вся древнегреческая культура выросла в свое время «из того творческого досуга, которым в богатеющей Греции располагали высшие слои общества», а, следовательно, «античная праздность – есть высшая форма обще-

ственной жизни». Русская жизнь начала двадцатого века, развивает Степун парадокс Шлегеля, «была в этом смысле подлинно античной»: «У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, у писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени. Ходить друг к другу в гости, вести бесконечные застольные беседы, заседать и публично дискутировать в философских обществах считалось таким же серьезным делом, как читать университетские лекции, выступать на судебных процессах и писать книги... Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, культура жила своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиным ходили одни и те же люди, подлинные перипатетики, члены единой безуставной вольно-философской академии»³⁵.

Степун и сам, как мог, активно включился в предвоенные годы в культурническую работу. Два московских адреса считал он в те месяцы для себя важнейшими. Во-первых, – дом Вечерних Пречистенских рабочих курсов в Нижнем Лесном (ныне Курсовом) переулке, где он читал популярный курс философии: «Помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня еженедельно подвозил извозчик, и те темноватые коридоры, которыми я проходил в небольшую поначалу аудиторию, состоявшую на добрую половину из настоящих рабочих. Могу сказать, что к своему первому курсу “Введение в философию” я готовился с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда ослепленные ее отрицанием мы озлобленно боремся друг против друга»³⁶. И, во-вторых, особняк на углу Воздвиженки и Большого Кисловского переуллка, где при «Обществе распространения технических знаний» было организовано «Бюро провинциальных лекторов». Командируемый этим Бюро, Федор Степун объездил в предвоенные годы с просветительскими лекциями пол-России («от Смоленска до Коканда и от Петербурга до Одессы и Кавказа»): «Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для начинаний “отзывчивой русской общественности”... На доме по Большой Кис-

ловке должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем, кто бескорыстно в нем трудился на пользу России»³⁷. И в предвоенные годы, и позднее – в эмиграции, Степун был абсолютно уверен: «Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между “необразованностью народа и ненародностью образования”, в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни»³⁸. Впрочем, он ясно понимал, что и в самом этом предвоенном росте России далеко не все обстояло благополучно: «В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка (где проходили заседания Религиозно-философского общества. – *А.К.*), ...но и пахло тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их... Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинающих предвоенных лет»³⁹.

В сложные моменты жизни Степун возвращался в старый родительский дом около Остоженки: сюда он приехал после трагической смерти первой жены; сюда успел на несколько часов заехать в октябре 1914 г. к умирающему отцу перед отправкой своего эшелона на Галицийский фронт. Не сохранившийся дом № 5 в Штатном (ныне Кропоткинском) переулке принадлежал вдове московского почетного гражданина Надежде Васильевне Кан. Большая семья Степунов занимала в особняке целый этаж: младшие дети еще жили с вместе с родителями⁴⁰.

В 1911 г. Степун вторично женился – на студентке историко-философского отделения Высших женских курсов Наталье Никольской. Ее родители – Николай Сергеевич и Серафима Васильевна – жили в большой квартире на Тверской, в пятиэтажном доходном доме товарищества «А.Бахрушина сыновья», построенном в 1900–1901 гг. в стиле «ар-нуво» архитектором Карлом Карловичем Гиппиусом, семейным архитектором купцов и меценатов

Бахрушиных. Владельцем дома был Алексей Александрович Бахрушин – собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея.

Тесть Степуна владел небольшой фирмой, продающей фотографические и типографские принадлежности, и выбор им квартиры в доме на Тверской был неслучаен: нижние два этажа, выходящие огромными окнами на оживленную (хотя в те времена еще довольно узкую) улицу, были заняты московским представительством французской фирмы братьев Пате, специализировавшейся на продаже патефонов, фонографов, проекционных аппаратов, а позднее и самостоятельном производстве фильмов. Квартиры жильцов находились на трех верхних этажах: вход был не только с улицы, но и с большого двора со стороны Козихинского переуллка, где Гиппиус спроектировал еще несколько «бахрушинских» многоквартирных домов классом поскромнее. (Доходный дом Бахрушина на Тверской, сегодня числящийся под № 12, уцелел в почти неизменном виде после расширения и радикальной реконструкции улицы в конце 1930-х гг.)⁴¹.

В 1912–1914 гг. Федор и Наталья Степун снимали квартиру в доме № 13 по Новослободской улице (*«небольшом под вековым тополем домике»*⁴²), принадлежавшей дворянке В.Н.Новиковой. В соседней квартире жил сын домовладелицы – Михаил Михайлович Новиков, ученый-зоолог, знакомый Степуна по Гейдельбергскому университету. В 1911 г. Новиков в числе 130 других профессоров и приват-доцентов демонстративно покинул Московский университет в знак протеста против антистуденческих репрессий правительства. Новиков (в то время гласный Московской думы, где занимался проблемами народного просвещения) перешел в Коммерческий университет, возглавляемый его другом П.И.Новгородцевым, а в 1912 г. был избран депутатом IV-й Государственной думы от кадетской партии. (Осенью 1916 г. М.М.Новиков вернулся профессором в Московский университет, в 1918 г. был избран деканом физико-математического факультета, а весной 1919 г. стал избранным ректором Московского университета. Осенью 1922 г. М.М.Новиков был выслан из страны «философским пароходом», впоследствии много общался с Ф.А.Степуном в эмиграции.)

В годы первой мировой войны Ф.А.Степун воевал в 3-й батальоне 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады в Галиции, Венгрии, Лифляндии, пройдя путь от прапорщика до поручи-

ка. Эти тяжелые фронтовые месяцы стали для него временем большой внутренней работы и нравственного роста. «Я лично прежде всего страшно заинтересован всем происходящим во мне и вокруг меня, – писал он с фронта жене в апреле 1915 г. – Я живу сейчас так интенсивно, как еще никогда не жил. Я, безусловно, сильно отстаю от передовых людей науки в книжной начитанности, но я с каждым днем все яснее ощущаю, как я сам в себе крепну и утверждаюсь. Во мне сейчас много самого первозданного знания о самой сущности жизни»⁴³.

Будучи на фронте, Степун на собственном опыте ясно осознал, насколько идеология и любое нарочитое «умничанье» (любое, даже «патриотическое») искажает и профанирует реальную жизнь. 10 апреля 1915 г. он написал из Венгрии своему другу и коллеге-философу Сергею Гессену об «ужаснейшей лжи нашей идеологии»: «"Отечественная война", "Война за освобождение угнетенных народностей", "Война за культуру и свободу", "Война и св. София", "От Канта к Круппу", – всё это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства»⁴⁴. Он дал тогда Гессену обещание, которое в дальнейшем выполнит: «Если мне только дано будет вынырнуть живым и физически здоровым (за мое духовное равновесие я совершенно спокоен) из моря событий и случайностей войны, то моим пребыванием в первом ряду сражающихся я куплю право говорить о войне все то, что буду о ней думать, и возможность думать о ней то, что она на самом деле есть»⁴⁵.

Во фронтовых письмах Степуна ярко проявилась его глубинная *московская идентичность*. Достаточно прочесть письмо жене от 5 апреля 1915 г., где он, отказываясь от собственно военных описаний, пересказывает Наташе один ночной сон: «Расскажу тебе лучше, как я недавно не то в мечтах, не то в забытии был в Москве. Приехал я на Брестский вокзал и вышел на платформу. В Москве стоят иногда прекрасные ранние весенние вечера. Мостовые чисты и влажны, небо синее, прутья и листочки деревьев после короткого весеннего дождя как-то особенно свежи, за оградами... Я взял хорошего извозчика и тихо, обязательно тихо, поехал по Тверской к Страстному... Еду и все прошу тише, тише, и все смотрю, смотрю

по сторонам...»⁴⁶ (Добавлю, что за два дня до этого Степун писал Наташе о неудобствах фронтового быта: «Особенно раздражает ругань. Временами прямо-таки судорога схватывает горло...»⁴⁷.) Однако продолжим пересказ удивительного ночного сновидения: «...Странно, все настоящее, самое настоящее, привычное, московское. Так, значит, Москва еще есть, а ведь мне не верилось... Особенно странно видеть изящных, нарядных женщин; почти непонятно, что это за существа. Помнится, я бывал когда-то среди них... Итак, я действительно я. Вот этот я, который едет сейчас на извозчике в серой шинели, в высоких сапогах, в усах и бородке, и есть тот же самый, который сидит с ним рядом, бритый, длинноволосый, в широкополой шляпе и широком пальто... Боже, что отдал бы я за то, чтоб быть в Москве с тобою...»⁴⁸

Бессознательными ассоциациями с Москвой полны и письма Степуна матери. 18 марта 1915 г., в момент фронтовой передышки, он написал ей: «Как мне грустно, что так редко пишу тебе. Грех сказать, что нет времени. Время есть, но окончательно нет тишины, нет одиночества...»⁴⁹. И далее, рассказывая Марии Федоровне о фронтовой суете, толкотне, бестолковщине и невероятном шуме, он будто припомнил, как двадцать лет назад, его, одиннадцатилетнего провинциального мальчика, оглушила какофония московских звуков: «И все это приправлено тою фантастическою руганью, что, бывало, слышишь на улицах Москвы..., когда на оттаявшей мостовой одичалые, охрипшие ломовые беспощадно хлещут заскорузлой вожжей по грязному пузу выбивающейся из сил лошади, которая прыжками силится сдвинуть с места сани, нагруженные морожеными свинными тушами»⁵⁰. А потом сам удивленно добавил: «Я написал о Москве совершенно неожиданно, по инерции, а инерция, вероятно, от тоски по ней...»⁵¹. Тосковал фронтовик Степун, конечно, по совсем другим московским звукам – негромким и гармоничным: «Когда я вернусь в свое гнездо..., ты сама сядешь за наше старенькое пианино и сыграешь мне 3 этюда Шумана, вальсы Шопена и прелюдию Скрябина, что так часто играла мне, когда мы были молоды» (из письма жене 1 апреля 1915 г. из Сосфюрета в Венгрии)⁵².

Несколько раз он имел возможность попросить начальство о краткосрочном отпуске в Москву, но всякий раз отказывал себе в этом. «Против поездки живет во мне какое-то странное, почти

суеверное чувство, – объяснял он свои мотивы Наташе. – До сих пор я не разрешал себе в пределах моей военной жизни никаких личных желаний или нежеланий. И, мне кажется, что за эту покорность война была ко мне милостива. Я боюсь, если я разрешу себе по отношению к ней свою волю, то и она проявит в отношении меня свою темную, жестокую власть... Вот какие чувства не пускают меня в Москву»⁵³. В ноябре 1915 г. Федор Степун был ранен и затем долго лечился сначала в госпитале в Риге, потом в Пскове, а затем девять месяцев в «Евангелическом полевом лазарете» в Москве на углу Яузского бульвара и Малого Николоворотного переулка. «Просторный барский особняк, стоявший в довольно большом саду за чугунною решеткою»⁵⁴ – это бывшая городская усадьба начала XIX в. сенатора и камергера, крупного историка, специалиста по генеалогии русских родов Матвея Григорьевича Спиридова. В конце 1890-х гг., по заказу новой владелицы, Фанни Карловны Рюхардт, архитекторы Сергей Флегонтович Воскресенский и Виктор Александрович Коссов перестроили главный дом в стиле европейского романтизма. В 1910-х гг. в усадебном комплексе Спиридова-Рюхардт разместилась лечебница О.Г. фон Шимана, а с началом войны Евангелическая община передала ее под лазарет, финансируемый московской благотворительницей Евгенией Ивановной Мак-Гиль (Джей Мак-Гил, шотландкой по происхождению, вдовой миллионера Роберта Мак-Гиля). «Евангелический полевой лазарет» возглавил профессор Александр Николаевич Гагман (Степун называет его на немецкий манер «Гагеманном») – выдающийся хирург и один из первых в России рентгенологов. То, что изувеченную ногу удалось после многочисленных операций спасти, – заслуга врачей «Евангелического лазарета», куда, как считал Степун, его «привела счастливая звезда»⁵⁵.

Ранение и длительное лечение многое изменили в характере и мировоззрении Степуна: по его словам, именно во время войны он понял, что «философ – человек, лишь раненный вечностью, но не спасенный в ней»⁵⁶. Парадоксально, но именно в московском лазарете, далеко от передовой, боевой офицер-артиллерист по-настоящему испытал страх смерти («темный, голый и униженный»), «которого, стоя под пулеметным огнем и стреляя на прицеле 20, то есть на расстоянии только четырехсот саженей, по наступающей немецкой пехоте, я никогда не испытывал»⁵⁷. Оче-

видно, сделал вывод Степун, «страх до конца овладевает только бездейственной душою, лишенной возможности сопротивляться надвигающейся опасности»⁵⁸.

17 января 1916 г. Степуну удалось отпроситься из больницы на заседание Московского Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, которое проходило в особняке Маргариты Кирилловны Морозовой в Мертвом (ныне Пречистенском) переулке. Позднее Степун с большим сарказмом описал этот вечер в письме Сергею Гессену: возможно, поэтому участники у него зашифрованы буквами X, Y, Z и т. д., но, впрочем, легко разгадываются.

Пришедший на костылях, он на некоторое время стал объектом всеобщего внимания. С докладом «Софийность мира» выступал С.Н.Булгаков («профессор, экономист и богослов»). По мнению Степуна, «доклад профессора не удовлетворил решительно никого»: «С научной точки зрения он показался большинству не научен, с формально-логической – не логичен, с эстетической – местами безвкусен, с религиозной – не целостен, с метафизической – не трансцендентален, с вероисповедальной – не нужен как всякая философия, с эротической – (вне оной в Москве, кажется, сейчас ни о чем не говорят) недостаточно интимен и недостаточно экстатичен»⁵⁹. Степун не пытался скрыть в письме Гессену своего раздражения: «Прения затянулись далеко за полночь, и мне было на этот раз определенно тяжело и неприятно их слушать. Все время перед глазами стояло озеро Бабит и бурные болота боевых участков под Ригой. Куда-то проходили цепи серых сибирских стрелков, все время в ушах трещали пулеметы, раскатывались орудийные выстрелы, стонали раненые – и неладно врывались во все это на все лады произносимые слова о святой Софии. В моем оторванном от ученой жизни сознании голубая София превращалась в голубое озеро, а голубое озеро в озеро Бабит... Казалось, что вокруг стола-озера сидят не то знакомые ученые, не то солдаты-сибиряки, и вместо того, чтобы идти наступать, все говорят, спорят, кричат. Все сливалось в какой-то мучительный хаос, в тяжелый кошмар»⁶⁰.

А через несколько дней после заседания РФО Степун снова отпросился из лазарета и поехал на Зубовский бульвар, на квартиру Вячеслава Иванова, у которого тогда жил вернувшийся из Италии Владимир Францевич Эрн: «Многое, что в публичном заседании меня определенно коробило, производило в уютной и одухотворен-

ной квартире поэта гораздо более приятное впечатление. В этот вечер я узнал, между прочим, главную причину нашей войны с немцами. По словам Y <Эрна>, она заключается в том, что Лютер отверг культ Богоматери...; X же <Иванов>, видит причину в том, что Гретхен не замолила греха Фауста. Наши сибиряки кончают таким образом молитву Гретхен и спасают душу Фауста... Все это полно блестящей талантливости и субъективной виртуозности, но все это не то перед лицом суровой, трагической действительности»⁶¹.

Окна больничной палаты Степуна, обращенные на юг, выходили в сторону Яузы и поднимавшегося за ней Таганского холма. В конце марта 1916 г. он вроде пошел на поправку и, стремившийся быстрее вернуться в родную батарею, радовался наступившей весне и по-московски благодушно писал Гессену в Петербург: «На днях в Москве началась весна. Самая первая, самая тихая, самая моя любимая. Я сижу ранним утром у большого окна, и яркий луч весеннего солнца горючит мое левое ухо... Мне страшно хочется за окно! В нем видно несколько, как говорят у вас в Петербурге, “кварталов” Москвы, 12 церквей и сине-лиловую опушку загородного леса. Переулки и сады Таганского холма уж почернели, синие дымки при выходе из труб уже не поднимаются вверх, как в недавние зимние дни, а нервно треплются в порывистом весеннем ветре. Луковки церквей, влажные места железных крыш и некоторые стекла окон горят и лучатся, как крылья жар-птицы в няниных сказках»⁶². «Очень извиняюсь, – удивляется сам Степун, – за совершенно неожиданное для себя самого написание в строгий и дельный Петербург моей весенней московской маниловщины»⁶³.

В начале ноября 1916 г. Ф.А.Степун вернулся в родную батарею на Галицийский фронт. Он тогда слабо верил в удачный для России исход войны: «Иной раз, внутренне созерцая Россию и всю накопившуюся в ней ложь, я решительно не представляю себе, как мы доведем войну не до победного, конечно, но хотя бы до не стыдного, приличного мира... Вокруг неразрешимых вопросов внутреннего бытия России царствует полная отрешенность ее сынов от всех задач сознательного национального строительства, кружит какая-то бескрайняя свобода в разрешении себе безудержной спекуляции, лихого воровства, шантажа, кутежа и разврата»⁶⁴. Тем не менее, Степун попытался принять личное участие в демократической трансформации России после падения самодержавия (себя он

до конца жизни считал «человеком Февраля»): был делегатом от фронта в Центральном Исполнительном комитете в Петрограде, а летом-осенью 1917 г. работал в Политуправлении при военном министерстве, будучи близким сотрудником Б.В.Савинкова.

После переезда поздней осенью 1917 г. из революционного Петрограда в Москву Степуны более года прожили в квартире Никольских на Тверской⁶⁵. Не всякий извозчик соглашался тогда везти на Тверскую и в Козихинский, находившихся в центре боев белых юнкеров с красной гвардией: стреляли и от Страстного монастыря, и с крыши высотного дома Нирнзее в Гнездиловском переулке. Закрепившиеся в городе большевики разместили свой Военно-революционный комитет совсем рядом – в бывшем доме генерал-губернатора. Степун вспоминал о тех днях: «По внешности наша жизнь была как будто бы еще та же, на самом деле, все было уже иным. Прошное еще присутствовало в нашем домашнем обиходе, но лишь так, как угасающий больной присутствует среди здоровых. Всякое слово о нем было словом прощания с ним»⁶⁶.

Перебираясь в Москву, Степун рассчитывал подальше уйти от утомившей и только раздражавшей его петроградской политики: все-таки, в военно-политических структурах Временного правительства он был достаточно заметной фигурой. Позднее он вспоминал о своих политических настроениях первых послереволюционных месяцев и своем неучастии в работе ушедших в подполье антибольшевистских организаций: «Зная понаслышке об этих политических объединениях, я и сознательно, и бессознательно держался в стороне от них. Не то, чтобы я отрицал возможность всякой борьбы..., но я уже не верил ни в себя, как политического деятеля, ни в политические способности разогнанных большевиками сил. Мне казалось, что люди, не сумевшие удержать так легко доставшуюся им власть, вряд ли смогут вернуть себе ее при гораздо более сложных обстоятельствах. В те дни мною владела уверенность, что чашу большевистского яда России придется выпить до дна»⁶⁷. Между тем, в Москве, примерно до середины 1918 г., сохранялась некоторая свобода печати⁶⁸. Степун согласился тогда войти в редакцию формально независимой, а по сути правозэсеровской, газеты «Возрождение», которой финансово помогали через свои посольства союзники по Антанте, и во главе которой встал близкий друг еще по Гейдельбергу Илья Исидорович Бунаков-Фон-

даминский: «Ему, влюбленному во французскую культуру, французский язык и французскую журналистику, старому парижскому эмигранту, уже давно начавшему разочаровываться в политике как таковой, страстно мечталось создать в Москве большую газету нового типа, некий социалистический “Temps”»⁶⁹. Конечно, Бунаков обратился к Степуну, который не был членом эсеровской партии, «не как к политическому деятелю, а “как к писателю-философу и предложил ему возглавить культурно-философский отдел “Возрождения”. Тот, почти не раздумывая, согласился: «Дело окультуривания русского демократического социализма было мне близко и дорого; к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь. Идти на службу в какое-нибудь большевистское учреждение было для меня неприемлемо. Зарабатывание же пропитания случайной публицистической работой было крайне трудно. Вполне достаточное месячное вознаграждение за интересную работу сразу же разрешало все трудности практической жизни»⁷⁰.

Каждое утро, в течение нескольких месяцев, Степун ходил пешком в редакцию «Возрождения», находившуюся в новопостроенном «доме-утиге» на углу Спиридоновки и Гранатного переулка. Идти было недалеко: до угла Тверской, где еще стояла закрытая большевиками церковь Дмитрия Солунского (снесена в 1934 г.), мимо громады Страстного монастыря (через год он будет упразднен, а его кельи заняты Военным комиссариатом Троцкого) и далее вниз по Тверскому бульвару. И всякий раз охватывало Степуна странное ощущение новой Москвы – «будто бы еще своей», но «уже ускользающей от тебя»⁷¹. Единственное, что удерживало в его сознании прежний образ первопрестольной – это Пушкин, «светлое имя которого еще в раннем детстве таинственно прозвучало мне в соседнем с нашим Кондровым “Полотняном заводе” Гончаровых»⁷². Ибо оставались на своих местах и стоявший тогда спиной к Тверскому бульвару пушкинский памятник Опекушина, и Церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, где поэт венчался⁷³.

Последний московский адрес Ф.А.Степуна – Малая Никольская улица, 21, откуда он, собственно, и отправился в эмиграцию. До революции владельцем старинного особняка⁷⁴ был московский потомственный почетный гражданин М.М.Кожевников. Советская власть заселила особняк новыми жильцами: «Первый этаж был

реквизирован шоферами не то высокопоставленных сановников, не то советских учреждений, сытыми, наглыми парнями, все время грозившими распространиться на весь дом»⁷⁵. Уплотнили и большую квартиру № 2 на втором этаже, где проживала сестра Степуна Мария Августовна с мужем – инженером-химиком Дмитрием Николаевичем Поповым (в мемуарах – «Аксеновым»), оставив за ними три небольшие комнаты, в одной из которых поселились Федор и Наталья Степуны. В остальных комнатах «жили преимущественно актеры, долго спавшие по утрам и бесцеремонно шумевшие по ночам»⁷⁶. Мария Августовна, на правах прежней хозяйки, пыталась сохранять в доме подобие порядка: «Сестра очень страдала от беспорядка и грязи в квартире, но сделать ничего не могла. Прибываемые ею всюду записки с просьбами не ссориться в кухне из-за мест на плите, не пользоваться без спросу чужими примусами, не засорять уборной и убирать ее за собою, не занимать ванну больше чем на полчаса, не плевать и не растаптывать в коридоре окурков, вызывали лишь смех молодой богемы»⁷⁷.

Увы, Степун пишет о своих тогдашних соседях мимоходом и даже с некоторым раздражением; а ведь о новых жильцах второго этажа дома на Малой Никитской можно было бы написать целое исследование. Так, «красавица-актриса», поселившаяся с сыном в бывшей столовой Поповых, – не кто иная, как переехавшая в Москву звезда немых, еще дореволюционных кинолент, прима «Камерного театра» Александра Таирова, впоследствии «муза» Сергея Есенина, которой поэт посвятил цикл «Любовь хулигана», Августа Леонидовна Миклашевская.

А «молодой режиссер, убежденный пропагандист театрального экспрессионизма», подолгу занимавший по утрам ванну, – выдающийся режиссер-новатор Николай Михайлович Фореггер, потомок австрийских баронов, основатель «Мастфора» («Мастерской Фореггера») на Арбате, у которого помощниками режиссера начинали Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич, заведующим музыкальной частью был Матвей Блантер, а актерами – Борис Барнет, Сергей Герасимов и Тамара Макарова. И в той самой квартире на Малой Никитской Фореггер репетировал постановки «Театра четырех масок», в которых были заняты молодые Игорь Ильинский и Анатолий Кторов – отсюда, возможно, и так раздражавший Степунов шум и беспорядок в квартире.

Кстати, во время обыска в комнате Степуна 17 августа 1922 г., проведенного в его отсутствие по ордеру, подписанному зам. Председателя ГПУ Уншлихтом и начальником Оперативного отдела Паукером, «шумные соседи» дали на Степуна вполне сочувственные показания. Августа Миклашевская: «Знаю его как человека науки; он часто читает лекции о театре и по другим вопросам науки и искусства. Степуны сейчас находятся в д. Поповке верст 40–45 за Москвой, где он пишет какие-то статьи и др. В данный момент гражданин Степун болен коклюшем»; Николай Фореггер: «Гражданина Степуна Федора Августовича знаю мало. В вопросе искусства нашего он человек со старыми взглядами, которые хочет комбинировать с нынешним положением вопросов культуры, в частности искусства у нас в России»⁷⁸. Вполне «трудовую» характеристику разыскиваемого подтвердил и словоохотливый дворник: «О Степуне Ф.А. могу сообщить следующее. Он с женой своей Натальей Николаевной, начиная с весны, часто уезжает и приезжает, большее время он в отсутствии. Последний раз гражданин Степун с женой был здесь (в своей квартире) недели две–три тому назад; он продал свою лошадь и купил другую, с которой он на третий день своего приезда снова уехал в деревню. Едет он на лошади по шоссе. Не знаю направления и названия деревни»⁷⁹.

В ближайший приезд в Москву Ф.А.Степун явился по повестке в «большой дом» на Лубянке к начальнику IV Отдела ГПУ Решетову и дал следующие показания: «Степун Федор Августович, 38 лет, род занятий – литератор. Женат, детей нет. Беспартийный. Образование – доктор философии Гейдельбергского университета. До войны 1914 г. нигде не служил, редактировал “Логос”. До февральской революции 1917 г. на фронте прапорщиком – окончил поручиком: был избран на Юго-Западном фронте в члены ЦИК I созыва. С октябрьской революции до ареста жил у себя в деревне, т. е. в бывшем имении родителей моей жены, где велось трудовое хозяйство. Работал в Государственном показательном театре. Член художественной Академии наук, преподавал в театральных студиях и пр.»⁸⁰.

По поводу предъявленного обвинения в антисоветской деятельности Степун показал следующее: «Как гражданин, отношусь к советской власти определенно лояльно. С начала ее победы считал и считаю всякую внешнюю вооруженную борьбу с ней политической ошибкой. По существу, как философ, считаю большевизм очень

сложной религиозной и моральной болезнью русской народной души, которая, однако, безусловно пойдет на пользу ее духовного роста. Процесс социалистов-революционеров считаю вполне логичным шагом советской власти. Ничего возмутительного как внутреннее явление большевизма он для меня в себе не таит. Но как яркий шаг большевизма он, конечно, наиболее ярко из всех мероприятий советского правительства обнаружил в моих глазах всю духовную неприемлемость для меня большевистски-коммунистического мирозерцания. К эмиграции отношусь отрицательно. И большая жена мне жена, но француз-доктору, который ее лечит, она никогда не жена. Эмиграция, не пережившая революцию дома, лишила себя возможности действительного участия в воссоздании духовной России»⁸¹.

В итоге, следствие пришло к выводу, что «гр-н Степун Федор Августович с момента октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей анти-советской деятельности в моменты внешних затруднений для РСФСР... А посему, в целях пресечения злостной анти-советской деятельности гр. Степуна Ф.А. выслать из пределов РСФСР за границу. Принимая во внимание заявление гр. Степуна с просьбой разрешения выезжать за границу на собственный счет, таковое разрешить, обязав его подпиской о выезде в десятидневный срок за границу»⁸².

Уже в эмиграции, в цикле очерков «Мысли о России» (бесспорно выдающихся по своей историософской глубине) Ф.А.Степун попытался осмыслить и описать произошедший с Россией и искореживший его собственную жизнь экзистенциальный переворот, сломавший все привычные человеческие «идентичности»: «Каждый перестал быть тем, чем был, и каждый сразу мог стать всем... С невероятной быстротой исчезли все фиктивные перегородки жизни, и тысячи тысяч судеб сразу же вышли из предназначенных им рождением и воспитанием форм. Словно кто внезапно рванул все двери классовых, сословных и профессиональных убежищ, выгнав наши души в бескрайние просторы чего-то исконно и первично человеческого»⁸³.

Этот тектонический сдвиг бытия не только выбил миллионы из привычных контекстов существования, но и до предела оголил все его первичные смыслы: «В страшные первые годы большевистско-

го царствия мы не только поняли, что есть хлеб, кров, одежда, но также и то, что есть любовь, дружба и верность; родина, государство, семья. Поняли, кто поэт, кто ученый, кто герой, кто трус, кто настоящий русский человек, а кто на Руси прохожий. Все встало и определилось в своем подлинном удельном весе»⁸⁴. Изменилась, согласно Степуну, и сама «метафизика» города как такового, быстро утрачивающего свою привычно-передовую цивилизующую роль: «Отсталая деревня внезапно оказалась во главе жизни. Город и фабрика начали жаться к ней и просить у нее милостыни: насущного хлеба и насущных устоев; как это ни странно, но деревня не только хозяйственно, но и культурно оказалась сильнее города, сохранив и под диктатурой пролетариата те старые формы бытового своего обихода, которые так легко уступили большевикам цивилизованные столицы. Однако не только вхождение в жизнь деревни и оскудение города меняло привычную перспективу времени, пробуждая в душе новое чувство бренности и вечности жизни, — менял ее и сам вид большевицкого города»⁸⁵.

В 1920-е гг., в Берлине, Париже, Дрездене Степун много писал о новой большевистской Москве, изменившей, по его мнению, не только облик, но и свое существо: «Москва 1919 года напоминала, особенно под вечер и ночью, древнюю Москву Аполлинария Васнецова. Темные окна. Занесенные тротуары. Нанесены сугробы. Ныряют по ним изредка одинокие извозчицьи санки. Скрипит в тишине на морозе снег. Идешь — озираешься, нет ли где за углом чекиста-опричника, и невольно вздрагиваешь, заслышав чьи-то смелые, громкие голоса. Но не то, конечно, в первую очередь важно, что чекист, смешивая исторические перспективы, обращал наши взоры к древнему облику Москвы, а то, что, стирая грани жизни и смерти, обращал наши души к Вечности»⁸⁶.

Москва, внешне отброшенная в архаику, в своих обнажившихся метафизических глубинах оказалась перед лицом Вечности — в этом проявилась новая, возможно, самая фундаментальная ее идентичность: «На каждом перекрестке стояла судьба, каждый поворот жизни был выбором между верностью и предательством, между честью и подлостью. Во внешне до убожества упрощенной жизни на каждом шагу свершались нравственно бесконечно сложные процессы. Обесмыслились все впрок заготовленные точки зрения, жизнь требовала живых пытливых глаз»⁸⁷.

Трудно было ожидать от большинства городских обывателей способности выдержать подобное испытание – эту мысль, неоднократно посещавшую его в обольщенной Москве, Степун впоследствии разовьет в соответствующих главах эмигрантских мемуаров: «Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих... городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой мирозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищавших, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою... всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные “товарищи” легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других»⁸⁸.

Однако, одновременно с массовой антропологической деградацией, свершался в Москве и противоположный процесс – процесс удивительного «*восхождения душ*» и «*жизни на вершинах*»: «О, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России... Глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории...»⁸⁹. И тому были не менее глубокие экзистенциальные причины, чем инстинкт физического самосохранения: «Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания “духов”. Жизнь на “вершинах” становилась биологической необходимостью; абсолютное “бытие” переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможной опорой нашей каждодневной жизни»⁹⁰.

В своих мемуарах Степун приводит несколько примеров этой «вершинной жизни», разумеется, разорванной и фрагментарной, но единственно для автора *своей*. Одним из таких «островков» прежней Москвы была для Степуна квартира его друга А.С.Шора на углу Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка⁹¹. Александр Соломонович Шор, бывший владелец фабрики

роялей и находящегося в нижнем этаже его дома музыкального магазина, оказавшийся при Советской власти простым настройщиком роялей с сильно поредевшей клиентурой, проживал в квартире на Большой Никитской с женой Раисой Моисеевной (всю жизнь проработавшей в благотворительности), сыном-музыкантом Юрием и дочерью Ольгой – историком и искусствоведем, впоследствии активно печатающейся в эмиграции под псевдонимом «Ольга Дешарт»⁹². Часто в квартиру к А.С.Шору приходил его младший брат, пианист-виртуоз и музыкальный педагог Давид Соломонович Шор (организатор, вместе со скрипачом Крейном и виолончелистом Эрлихом, европейски знаменитого «Московского трио»), а также другие члены многочисленного семейства, в основном из врачебного сословия, жившие и практикующие на той же Большой Никитской ближе к бульварам. В гостеприимный и хлебосольный дом («у Шоров дольше, чем у других, держались кое-какие последние запасы, которые они, не заглядывая в будущее, радушно и беззаботно скармливали всем, кто попадал к ним») часто приходили подискутировать об искусстве, философии и политике Вячеслав Иванов и Густав Шпет.

Степуну особенно запомнились последние перед его высылкой из России вечера в квартире Шоров в июле–августе 1922 г.: «Как памятны мне поздние летние вечера на небольшом балконе у Шоров. Летняя Москва была по-старому полна своею милою провинциальною грустью. Пахло пылью, нагретым за день железом крыш и увядающим жасмином... В гостиной о чем-то несбыточном раздумчиво пела виолончель Юрия Шора и было до полной утраты ощущения своего собственного “я” непонятно, почему засевшие в недалеком Кремле большевики творят в этом тихом, печально-прекрасном мире свое злое, громкое, бескорбно-мажорное дело и почему, творя его, они приглашают в Кремль трио “Шор, Крейн и Эрлих” и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах»⁹³.

Другим «духовным прибежищем» стала для Степуна квартира философа и публициста Николая Александровича Бердяева в Большом Власьевском переулке, где проходили первые заседания «Вольной Академии духовной культуры»⁹⁴. Степун искренне считал Бердяева (с которым часто расходился во взглядах) «одной из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы»: «Большевистский вихрь не только

взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве»⁹⁵.

Степуну принадлежит и, возможно лучшее в отечественной литературе, описание духовно насыщенной атмосферы последнего в Москве бердяевского дома: «Небольшая писательская квартира, чадит железная печка, холодно. Кто в драповом пальто, кто в фуфайке, многие в валенках. На чайном столе ржаной символ прежних пирогов и печений и изобретение революции, керосиновая свеча. В комнате почти вся философствующая и пишущая Москва. Иногда до 30–40 человек. Жизнь у всех ужасная, а настроение бодрое и в корне, по крайней мере, – творческое, во многих отношениях, быть может, более существенное и подлинное, чем было раньше, в мирные, рыхлые, двоенные годы»⁹⁶. (Именно в кабинете Бердяева, выходящем во двор с полуразрушенным временем и людьми домом, где прошло детство Герцена, и сговорились в 1921 г. о сборнике «Освальд Шпенглер и Закат Европы» четыре его автора: Федор Степун, Николай Бердяев, Семен Франк и Яков Букшпан. Первые трое, как известно, были вскоре высланы из России, а четвертый, талантливый экономист Я.М.Букшпан, отказавшийся покинуть страну, был через несколько лет расстрелян.)

Из других степуновских зарисовок послереволюционной Москвы выделяется рассказ об одном из публичных заседаний Академии духовной культуры в нетопленной аудитории Высших женских курсов в Мерзляковском переулке: «Все сидели в пальто, шубах, валенках; как во внешней обстановке, так и в тревожном настроении собравшихся чувствовалось наступление вражьей власти и повелительная необходимость не говорить перед ее лицом никаких случайных, поверхностных и праздных слов»⁹⁷. С выступавшим в качестве докладчика Бердяевым вступил в полемику другой мэтр московской философии Густав Густавович Шпет: «Отдельных возражений Шпета я не помню, помню только, что он запальчиво напал на христианство и с непонятною страстностью защищал в большевистской Москве... Элладу. В этом выверте была, конечно, своя, шпетовская логика. Думаю, что преувеличенно ощущая внутреннюю близость христианского и коммунистического уто-

пизмов, Шпет только потому и говорил о светлой, трезвой, здешней Греции, что его раздражал традиционный в Религиозно-философской академии взгляд на Москву, как на третий Рим. Какой – к черту – третий Рим, когда в Кремле засели большевики! Не расстрелять ли вместе с большевиками и христиан, чтобы наконец-то вытрезвилась матушка-Русь»⁹⁸.

Несмотря на дружеские отношения с Бердяевым и обоюдно прохладные со Шпетом, Степун, похоже, не был равнодушен к логике последнего. Ему, прошедшему школу строгого философствования в Гейдельберге и Марбурге, была чужда спекулятивная «пан-идеологизация» (термин Степуна) жизненных явлений. В 1933 г., отвечая на анкету эмигрантского «Пореволюционного клуба»⁹⁹ (потом этот ответ был напечатан в «Новом граде»), Степун с горечью написал об идеологических мифах, долгие годы насилвавших русскую жизнь и, в итоге, приведших ее к катастрофе. И первым в ряду этих убийственных мифов он назвал как раз идею «Москвы – третьего Рима»: «Думаю, что нам... необходимо стать гораздо более трезвыми, чем были наши предшественники-славянофилы. Москва – третий Рим..., Россия – третья сила, которой суждено примирить безбожного человека Запада и бесчеловечного Бога Востока, Россия – единственный оплот против западно-европейской революции – вот несколько примеров того, чего больше не надо, что потерпело страшное крушение, отчего становится как-то стыдно при взгляде на Советскую Россию и на нашу общественную вину и немощь»¹⁰⁰.

Вообще, одна из фундаментальных философских идей Ф.А.Степуна, окончательно продуманная им уже в эмиграции, – необходимость строгого различения *идей* и *идеологий*. «Идея», согласно Степуну, – это «структура бессознательного переживания», в отличие от «идеологии», которая есть «построение теоретического сознания»¹⁰¹. Поэтому сам он никогда не пытался сформулировать, например, некую особую «русскую» или «московскую идею», – но всегда стремился уловить и по возможности адекватно передать смыслы, прорастающие снизу: «Не надо формулировать идеи. Идея... – это зерно, это “путь зерна”, это органический рост и цветение, нечто изнутри каждому причастному идее ведомое, но одновременно тайное, сокровенное, а потому и неизреченное»¹⁰². Поэтому «формула России», предложенная Степуном звучит так: «Идея России заключается в защите Божьих замыслов (идей) от

человеческих выдумок (идеологий) и в блюдении себя, как главной твердыни на фронте идей... Я уверен, что без внутреннего сопротивления отвлеченному раскрытию русской идеи обязательно переусердствуешь в ее формулировке; а это весьма опасно не только для теории, но и для политической практики... Русскость есть качество духовности, а не историософский, политический и идеологический монтаж»¹⁰³.

Оказавшись в Германии и ностальгируя (что вполне естественно) по Москве своей молодости, Ф.А.Степун, однако, не мог согласиться с бытовавшим в эмигрантских кругах убеждением, что это, мол, новые большевистские правители «беспощадно стерли с Москвы ее стародавний облик». «Облик этот начал меняться задолго до большевиков, – возражал Степун. – Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грюндерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить Врубелевскую мозаику на Метрополе, громадные золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка <Рябушинского> недалеко от Никитских ворот, неоготический замок <Зинаиды> Морозовой глубоко во дворе на Спиридоновке, и знаменитый по своей нелепости особняк <Арсения Морозова> на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами башнями»¹⁰⁴. По мнению Степуна, «все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома»¹⁰⁵.

Но в степуновской констатации того, что Москва начала радикально меняться по меньшей мере за десятилетие до прихода неомодернистов-большевиков, проявился и его своеобразный оптимизм: «Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что в Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание закону планового строительства»¹⁰⁶. «Иногда мне, впрочем, думается, – добавлял Степун, – что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне все еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да скажется исконный русский дар всё – хорошо ли, плохо ли – переделывать на собственный лад...»¹⁰⁷.

«Идеальная Москва» для Степуна – это непрерывное вольное творчество, самовоспроизводящаяся энергетика города, не опосредованная ни буржуазным рынком, ни, тем более, чьей-то авторитарной волей. Как бы там ни было, ясно то, что сам Ф.А.Степун, москвич не только по рождению, но и по духу, внес в осмысление *метафизики* Москвы, а, значит, и в ее пребывающую в постоянном развитии *идентичность*, свои, абсолютно неповторимые краски и ноты.

...А перед самым отъездом в вынужденную эмиграцию Ф.А.Степун вдруг снова, во всей полноте, в последний раз ощутил *свою Москву*: «Паспорта лежали в кармане. До отъезда оставалась неделя. Каждый день мы с женой ходили к кому-нибудь попрощаться. Ходили по всей Москве: со Смоленского рынка на Солянку, с Мясницкой к Савеловскому вокзалу, и странное, трудно передаваемое чувство с каждым днем все больше и больше укреплялось у нас в душе: *чувства возвращения нам нашей Москвы* (курсив мой. – А.К.), Москвы, которую мы уже долго не видали, как будто совсем потеряли и вдруг снова нашли. В этом новом чувстве нашей Москвы снова торжествовала свою победу вечная диалектика человеческого сердца, которое окончательно овладевает предметом своей любви всегда только тогда, когда его теряет...»¹⁰⁸.

Казалось бы, невозможно сформулировать абсолютную человеческую уверенность в своей глубинной *московской идентичности* более точно. И, тем не менее, ранне-эмигрантский очерк Федора Степуна о «прощании с Москвой» в октябре 1922 г. заканчивается еще более удивительным фрагментом: «Весь вагон давно спит, лишь мы с женой стоим у окна. Я смотрю в черную ночь и страницу за страницей листаю свои воспоминания за пять безумных лет. И странно, чем дальше я листаю их, тем дальше отодвигается от души приближающаяся ко мне разумная Европа, тем значительнее вырисовывается в памяти удаляющаяся от меня безумная Россия»¹⁰⁹.

Примечания

¹ Понятие «локальная идентичность», постепенно обживающееся в научной литературе, было применено автором в отношении двух других персонажей русского Серебряного века (кстати, хороших знакомых Степуна) – Б.К.Зайцева и Н.А.Бердяева. См.: *Кара-Мурза А.А.* Данте и Пушкин (Флорентийско-москов-

- ские размышления Б.К.Зайцева) // Россия, история и политика: к 80-летию И.К.Пантина. М., 2010. С. 113–154; *он же*. Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // Филос. науки. 2014. № 4. С. 65–77.
- 2 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. Полный текст этих воспоминаний хранится в архиве Степуна в Йельском университете США. Этот текст был переведен на немецкий язык, авторизован и вышел в Мюнхене в 1947–1950 гг. под названием «Vergangenes und Unvergangliches» («Прошедшее и непреходящее»). Лишь в 1954 г. автору удалось издать сокращенную, русскоязычную версию мемуаров. См. об этом: *Кантор В.* Как издают шедевры. О публикации русского варианта мемуаров Ф.Степуна «Бывшее и несбывшееся». Письма Федора Степуна в издательство им. Чехова // *Вопр. лит.* 2006. № 3. С. 278 – 319).
 - 3 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 7. Двухэтажный дом этот, к счастью, сохранился. 25 сентября 2009 г. (в год 125-летия со дня рождения Степуна) я, вместе с моим другом, коллегой по фонду «Русское либеральное наследие» и крупнейшим степуноведом В.К.Кантором, были в числе главных инициаторов открытия в Кондрово мемориальной доски. На ней надпись: «В этом доме с 1887 по 1894 гг. жил Федор Августович Степун – выдающийся русский философ, писатель, профессор, большую часть жизни проведший в вынужденной эмиграции, идейный борец с тоталитаризмом».
 - 4 В 2009 г. на юбилейном семинаре в Санкт-Петербурге главный докладчик (автор хороших работ об эмигрантской жизни Степуна в Германии), повторяя старое заблуждение, начал свое выступление так (цитирую по стенограмме): «Как вы знаете, родился он в 1884 г. в Калужской губернии, о чем он не переставал говорить в своих мемуарах» (http://www.rhga.ru/science/conferences//rusm/stenogramms/stepun_yakovenko.php).
 - 5 *Степун Ф.А.* Автобиографический очерк // *Старые – молодым.* Мюнхен, 1960. С. 91. Само слово «человеколюбивый» стало у Степуна нарицательным. Когда, например, летом 1921 г. в земельной комиссии губернского исполкома слушалось дело о судьбе трудовой коммуны в Поповке (где крестьянствовали, пытаясь выжить «на земле», Степун и его близкие) и, в конце концов, все решилось благополучно, Степун иронично отнес этот итог на счет добрых природных предзнаменований: «День разбирательства нашего дела в Москве был на редкость тихий, мягкий, какой-то *человеколюбивый*» (курсив мой. – *А.К.*) (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 586).
 - 6 Сегодня в доме № 4 по Малому Златоустинскому переулку расположены департаменты Правительства Москвы.
 - 7 Дед Степуна из рода кальвинистских пасторов шведско-финского происхождения (в его жилах текла также кровь бежавших из Франции гугенотов) женился на коренной москвичке. Внимательнее заняться своей родословной Ф.А.Степуна, в то время профессора в Дрездене, заставила расистская политика Третьего рейха: «Мое арийское происхождение мне, однако, не помогло. В 1937 г. я был уволен в отставку за «русский национализм, практикующее христианство и жидопослушность» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 40).

- 8 Здание церкви было перестроено из жилого дома XVIII в. в 1865 г. архитектором Германом фон-Ниссенем. В конце 1917 г. помещение было отобрано у лютеран и передано лояльной большевикам общине евангельских христиан. Сегодня в доме № 3 по Трехвятительскому переулку находится Московская центральная церковь евангельских христиан-баптистов.
- 9 Степун в своих мемуарах пришел к выводу, что к православию его привела не только его «большая мистическая и догматическая глубина», но и «вся прожитая в России и с Россией жизнь»: «Такое русское детство, как наше кондровское..., с двенадцатилетнего возраста поэтическая влюбленность в Лизу Калитину и Наташу Ростову, женитьба и первым и вторым браком на коренных русских женщинах и, наконец, в революцию, пять лет трудовой, крестьянской жизни на русской земле – все это неизбежно должно было превратить в подлинно русского человека не только близкородственного России полупруссака, как я, но и совершенно инокровного ей грузина или еврея» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 45).
- 10 Руководил училищем действительный статский советник, протестантский пастор Георг фон Ковальциг, который умел привлечь к преподаванию лучшие силы, в том числе и по гуманитарным дисциплинам. Достаточно сказать, что русскую словесность Степуну и его однокашникам преподавали Алексей Евгеньевич Грузинский, тогда еще молодой историк русской литературы, в будущем председатель «Общества любителей русской словесности», и Артур Лютер, совсем юный в те годы выпускник Московского университета, в будущем автор наиболее авторитетного немецкоязычного издания «Истории русской литературы». Всеобщая история преподавалась в училище на немецком языке.
- 11 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 28.
- 12 Там же. Степун с ранних лет был очень чувствителен к звуковому восприятию мира, ставшего характерной чертой русской символистской традиции начала прошлого века. В 1907–1908 гг., учась в Гейдельберге, а потом будучи в Москве на каникулах, он настойчиво пытался опубликовать в московско-символистском журнале «Весы» свои юношеские стихи, построенные на звуковых ассоциациях с ноктюрнами Шопена, танцевальным менуэтом, боем часов и т. д. См.: Неопубликованные материалы из архива Ф.А.Степуна (публ., вступит. ст. и коммент. Р.Бёрда) // Новое лит. обозрение. 2003. № 63).
- 13 Сейчас в этом здании находится Институт востоковедения Российской Академии наук.
- 14 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 28 – 29. На эту особенность степуновской «оптики», вполне определившейся уже у одиннадцатилетнего подростка, обратил внимание в своем мюнхенском выступлении на 80-лети Степуна его младший друг и коллега Д.И.Чижевский: «Очень многое мы лучше всего видим “с первого взгляда”. Но для познания с первого взгляда надо иметь соответствующие глаза: такие глаза, несомненно, есть у Степуна... Если даже “первый взгляд” открывает ему широкие горизонты, он всегда пытается детализировать и, так сказать, “картографировать” открывшуюся ему перспективу» (*Чижевский Дм.* Речь о Степуне на юбилейном вечере в честь 80-летия Ф.А.Степуна, организованного Баварской Академией изящных искусств

- 20 февраля 1964 г. // Новый журн. Нью-Йорк, 1964. № 75. С. 285). Приведем здесь и любимую фразу самого Ф.А.Степуна: «Я ничего еще не утверждаю, я только всматриваюсь». И далее: «Сейчас всюду такое обилие утверждений, в которых ничего не отвердевает и многое распадается, что становится необходимым верить только собственному опыту» (*Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк пятый // Современ. зап. Париж, 1924. Кн. 21. С. 283–284*).
- 15 *Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 474.*
- 16 Там же. С. 29.
- 17 Там же. «Три улицы», помнящие юного Степуна, – это бывшая Гороховская (ныне Казакова), бывшая Вознесенская (ныне Радио) и сохранивший свое название Токмаков переулок. Стоит сегодня на своем месте православный Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный в XVIII в. на землях канцлера петровских времен Г.И.Головкина. Однако, увы, утрачены многие другие строения этой части «степуновской Москвы»: и уникальная Michael-Kirche – духовный и культурный центр московских лютеран (закрыта в 1928 г. и позднее снесена), и комплекс зданий Михайловского реального училища.
- 18 *Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 30.*
- 19 Там же.
- 20 Там же. С. 48. В самом конце второй главы «Бывшего и несбывшегося», написанной в начале 1938 г., Степун, вдали от Москвы, снова рассуждает о своей тайной сопричастности Новодевичьему монастырю и его погосту: «Россия темнеет перед глазами бескрайним кладбищем... Стоят ли еще в Новодевичьей ограде кресты и памятники на дорогих могилах? Иной раз кажется, что их уже не найти. Войду ли я когда-нибудь в знакомые монастырские ворота или так до конца жизни только и буду в тоске перечитывать изумительные строки тоже уже умершего Белого (и тоже похороненного на Новодевичьем. – А.К.): Из мира, суетной тюрьмы, // В ограду молча входим мы...» (Там же. С. 49). По мнению Н.Сегал-Рудник, обращение Степуна-мемуариста к образу «Воробьевых гор» и «Новодевичьего монастыря» (Степун очевидно знал о надругательствах над его захоронениями 1930-х гг.) является сознательным включением в метафизическую традицию, связанную с именами Александра Герцена, Сергея и Владимира Соловьевых, Александра Блока и Андрея Белого (См.: *Сегал (Рудник) Н. Андрей Белый и Федор Степун: память и воспоминание // Toronto Slavic Quaterly. 2012. № 42. С. 75–152*).
- 21 Там же. С. 122. Бывший дом купцов Серебренниковых под номером 20 по Садово-Самотечной сохранился. Еще в дореволюционные годы он перестал выглядеть столь «декадентски», как это некогда показалось молодому Степуну. На фоне, например, построенного в 1908 г. на другой стороне Самотечной площади «особняка Правдиной» с его вычурным декором в стиле венского модерна.
- 22 *Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 122–123.*
- 23 Там же. С. 123.
- 24 Там же. С. 154.
- 25 Там же. С. 154, 157.
- 26 Там же. С. 154.

- 27 Там же. С. 154–155. Название «улица святого Николая» (на Арбате стояли целых три храма в честь Николая Чудотворца – Николы на Песках, Николы в Плотниках и Николы Явленного), известное с XVIII в., обрело новую популярность после выхода очерка Б.К.Зайцева, первоначально опубликованного в редактируемом Степунем московском альманахе «Шиповник», а затем давшего имя вышедшей уже в эмиграции книге. Степун оценивал зайцевскую «Улицу святого Николая», как выдающееся произведение о Москве, наполненное «особенной взвихренной музыкой», где буквально «слышен бокальный звон предреволюционных либеральных банкетов в “Праге”, но и тяжелый шаг командора подходящей революции» (*Степун Ф.А.* Борису Константиновичу Зайцеву – к его восьмидесятилетию // *Степун Ф.А.* Соч. С. 735).
- 28 Проблематика феноменологии ландшафта – одна из старейших в творчестве Степуна. Достаточно вспомнить его раннюю работу 1912 г., посвященную сравнению философского смысла «ландшафтов» итальянской Тосканы, Германии и центральной России (*Степун Ф. К феноменологии ландшафта* // Труды и дни. 1912. № 2. С. 52–56).
- 29 *Степун Ф.А.* Памяти Андрея Белого // *Степун Ф.А.* Соч. / Сост., вступит. ст. и коммент. В.К.Кантора). М., 2000. С. 704–705. Степун многократно, особенно часто в 1910–1913 гг., бывал в квартире Белого на Пречистенском бульваре (в том же доме работали издательство «Мусагет» и редакция «Логоса»); в свою очередь, Андрей Белый любил навещать квартиру Степуна в Штатном переулке (См.: *Степун Ф.А.* Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма. СПб., 2012. С. 307–312).
- 30 Там же. С. 705.
- 31 Там же. С. 705–706.
- 32 Эта статья Степуна была первоначально издана на немецком языке, а спустя два года, в 1936 г., напечатана в «Современных записках».
- 33 См. напр.: *Степун Ф.А.* Мистическое мировидение. С. 222. Добавлю, что когда в 1913 г. Вяч. Иванов снова приехал в Москву и поселился на Zubовском бульваре, он стал часто выступать с публичными лекциями. На одной из таких лекций, в большом зале Счетоводных курсов Ф.В.Езерского на Тверской, его впервые услышал Степун, о чем вспоминал потом в одном из писем жене: «А вот и нелепое, памятное здание..., где я впервые слушал златокудрого дионисиста с его характерною походкой, изысканным наклоном лыниной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем» (*Степун Ф.А.* Из писем прапорщика-артиллериста. Прага, 1926. С. 100).
- 34 Как известно, свою дебютную статью в основанном им совместно с С.Гессеном «Логосе» Степун посвятил именно Шлегелю. Он очевидно также, как Шлегель, мечтал о том времени, когда мысли «лишатся окончательно всякого оттенка безжизненной парадоксальности и станут послушным принципом живой культурной работы» (*Степун Ф.* Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. Международн. ежегодник по философии культуры. 1910. Кн. 1-я. С. 171).
- 35 *Степун Ф.А.* Вячеслав Иванов // *Степун Ф.А.* Соч. М., 2000. С. 722–723. Но-стальгические размышления о предвоенной России, как о «золотом веке культуры», не раз встречаются и у Н.А.Бердяева, и у Б.П.Вышеславцева, и у других русских мыслителей-эмигрантов. Наиболее емко общую идею о России,

- как «лучшей Европе», сформулировал в 1938 г. в парижских «Русских записках» друг Степуна – Г.П.Федотов: «Петровская реформа действительно привела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев... В течение долгого времени Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки (курсив мой. – А.К.), чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее» (Цит по: *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1992. С. 178).
- 36 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 157–158. Дом № 17 в Курсовом переулке, построенный в начале прошлого века по проекту архитектора В.Н. Башкирова, и сегодня сохраняет свою просветительскую специализацию: здесь расположен Международный союз инженерных общественных объединений.
- 37 Там же. С. 45, 160–161. Сегодня в этом доме по адресу: Большой Кисловский переулок 1/12 работает Институт языкознания РАН.
- 38 Там же. С. 161.
- 39 Там же. С. 164–165.
- 40 Дом, где долгие годы проживала семья Степунов, хорошо виден на фотографиях 1913 г. за номерами 2397/24 и 2451/78 из уникальной коллекции фотографий старой Москвы члена Императорского Московского Археологического общества Эмиля Владимировича Готье-Дюфайе.
- 41 Сохранился (хотя и находится в состоянии затянувшийся реконструкции) и соседний, в сторону Кремля, дом с бывшей «булочной Филиппова», фешенебельной кофейней в первом этаже и гостиницей «Люкс», отданной большевиками в 1919 г. под общежитие НКВД, потом Коминтерна, и ставшей, в конце концов, «Центральной».
- 42 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 230. Весь квартал старых домов по нечетной стороне Новослободской улице не сохранился.
- 43 *Степун Ф.* Из писем прапорщика-артиллериста. Прага, 1926. С. 98.
- 44 *Степун Ф.* Из писем прапорщика-артиллериста. С. 106–107. В начале 1920-х гг. Степун предпринял попытку постижения трагического смысла войны и революции в своих театральных опытах. См. об этом его статью «Трагедия и современность» в № 1 альманаха «Шиповник» (1922), впоследствии перепечатанную в сборнике «Основные проблемы театра» (Берлин: Слово, 1923).
- 45 Там же. С. 103–104. «Письма прапорщика-артиллериста» Ф.А.Степуна, вышедшие первоначально в Москве в издательстве «Задруга» в 1918 г. под псевдонимом «Н.Лугин», затем многократно переиздавались и, по общему признанию, являются одной из лучших русских книг о войне. См. напр.: *Зандер Л.А.* О Ф.А.Степуне и некоторых его книгах // Мосты. 1963. № 10. С. 325–327.
- 46 *Степун Ф.* Из писем прапорщика-артиллериста. С. 100.
- 47 Там же. С. 95.
- 48 Там же. С. 100–101.
- 49 Там же. С. 71.
- 50 Там же.
- 51 Там же. С. 72.
- 52 Там же. С. 94.
- 53 Там же. С. 102–103.

- 54 См.: *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 290.
- 55 Там же. Так случилось, что городскую усадьбу Спиридова-Рюхардт неоднократно рисовал из своего окна живущий на другой стороне Яузского бульвара талантливый московский художник Михаил Иванович Климентов (1889–1969). На его картинах 1920-х гг. хорошо видна находившаяся в Большом Николоворотинском переулке великолепная церковь Николая Чудотворца в Воротине XVII в. **На картинах конца 1930 – начала 1940-хх гг. слева от особняка Рюхардт церкви, разумеется, нет: она была снесена в 1932 г. В настоящее время подходит срок окончания капитальной реконструкции всего комплекса городской усадьбы Спиридова-Рюхардт.**
- 56 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 293.
- 57 Там же. С.295.
- 58 Там же.
- 59 Там же. С. 175. Судя по всему, С.Н.Булгаков излагал идею, которую спустя год развил в книге «Свет невечерний». См.: *Ермишин О.Т.* Православные идеалы в Московском Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева // Вестн. Православн. Свято-Тихонов. гуманитарн. ун-та. I: **Богословие. Философия.** 2007. Вып. 2(18). С. 64–65.
- 60 Там же. С. 175–176.
- 61 Там же. С. 176.
- 62 Там же. С. 171.
- 63 Там же.
- 64 Там же. С. 244.
- 65 Мать Степуна, Мария Федоровна, после революции в основном жила со вторым мужем и младшими детьми на загородной даче в Малаховке.
- 66 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 466.
- 67 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 463. В эмигрантских очерках «Мысли о России» Степун подробно написал о том, почему ему казалась «бессмысленной и бесцельной» вооруженная борьба против большевиков: «Было ясно, что большевизм – одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели большевизма... Дело было всё время не в них, но в той стихии русского безудержа, которую они оседлать – оседлали, которую шпорить – шпорили, но которой никогда не управляли... Историческая задача России в изжитые нами годы, в годы 1918–1921, заключалась не в борьбе с большевиками, но в борьбе с большевизмом: с *разнузданностью нашего безудержа* (курсив Степуна. – *А.К.*). Эту борьбу нельзя было вести никакими пулеметами; ее можно было вести только внутренними силами духовной сосредоточенности и нравственной выдержки» (*Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк первый // *Соврем. зап. Париж, 1923.* Кн. 14. С. 396–397).
- 68 Сам Степун объяснял это тем, что «закрывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир, и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно». По мнению Степуна-социо-

- лога, «утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически, конечно, неверно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически–националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал–социалистической Германии» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 468–469).
- 69 Там же. С. 470. Дружеские и литературно–издательские связи с Бунаковым–Фондаминским Степун сохранит и в эмиграции: в Париже он станет сотрудником и автором журнала «Современные записки», одним из редакторов которого был Бунаков, а позднее организует вместе с ним и Г.П.Федотовым еще одно замечательное издание – «Новый град».
- 70 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 470–471.
- 71 Там же. С. 474.
- 72 Там же. В усадьбе породнившихся с Пушкиным Гончаровых в Полотняном заводе А.С.Пушкин бывал дважды – в 1830 и 1834 гг.
- 73 Во времена Степуна рядом с Церковью Большого Вознесения еще стояла шатровая колокольня старого Вознесенского храма времен царицы Н.К.Нарышкиной – матери Петра I (снесена в 1937 г.). Новая колокольня построена в 2002–2004 гг.
- 74 Дом по тем же № 21 сохранился и после реставрации сдается под фешенебельные квартиры.
- 75 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 500.
- 76 Там же.
- 77 Там же. С. 501. Столь же безуспешно пыталась поддержать порядок в переполненной новыми жильцами квартире Никольских на Тверской Наталья Николаевна Степун: «Московская квартира, когда-то исполненная молодой, талантливой, разнообразной жизни, – холодная, сырая, вонючая, полна каких-то непонятных и чуждых друг другу людей» (*Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк первый. С. 395–396).
- 78 ЦА ФСБ РФ. Д. № Р-47815.
- 79 Там же. В те месяцы Федор и Наталья Степуны большую часть времени проводили в Поповке, бывшем имении Никольских в Дмитровском уезде, работая в созданной ими «трудовой коммуне». В московскую квартиру приходилось завозить самое необходимое: «Так как в Москве достать ничего было нельзя, то мы везли с собою не только необходимые вещи и съестные припасы, но и дрова в мешке, и салазки для доставки всего нашего добра с вокзала на Малую Никитскую...» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 498).
- 80 ЦА ФСБ РФ. Д. № Р-47815.
- 81 Там же.
- 82 Там же. Через несколько месяцев, уже в Берлине, в самых первых «Мыслях о России» Степун, с присущей ему честностью (в первую очередь, перед самим собой) написал: «В первую минуту получения этого известия оно прозвучало... радостью и освобождением. Запретное “хочется” по отношению к Европе и всем соблазнам “культурной” жизни становилось вдруг не только не запретным, но фактически обязательным и нравственно оправданным: не ехать

же, в самом деле, вместо Берлина – в Сибирь. Грубая сила (этот опыт я вынес еще с войны) – лучшее лекарство против всех мук сложного многомерного сознания. Не иметь возможности выбирать, не располагать никакой свободой иногда величайшее счастье. Это счастье я определенно пережил, заполняя в Г.П.У. анкеты на предмет выезда за границу» (*Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый. С. 398*).

83 *Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк шестой // Современ. зап. Париж, 1925. Кн. 23. С. 352–353.* Впрочем, во время наступления на Москву генерала А.И. Деникина в июле – августе 1919 г. и вероятной перспективы краха большевиков, в среде новой советской номенклатуры начался процесс «нового оборотничества». Степун вспоминал потом один московский вечер в кругу сотрудничающих с большевиками, а теперь серьезно призадумавшихся высокопоставленных «военспецов»: «По обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира... Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом... По глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные, огненно-лихорадочные вопросы, в которых перекивалось и перемигивалось все: люта я ненависть к большевикам с острою завистью к успехам наступающих добровольцев..., боязнь развязки, с твердою верою – ничего не будет, что ни говори, наступают свои... Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская» (*Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк четвертый // Современ. зап. Париж, 1924. Кн. 19. С. 329–330*).

84 Там же. С. 352. Эту мысль, впервые высказанную в очерке 1925 г., Степун затем несколько иначе изложил в более поздних мемуарах: «По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвинулся к бытию... Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи... В свете “красной звезды” всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего. Распознавание сущности становилось жизненною необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя» (*Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 459–460*).

85 *Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк шестой. С. 353–354.*

86 Там же. С. 355. Позднее, в своих мемуарах, Степун дополнил и развил эту картину: «По-новому ощущались и пространства Москвы. По всему городу... просторными пустырями переливались через растасканные заборы, еще Герценом прославленные, московские дворы. По этим просторам в разные стороны разбегались утопанные тропки, по которым с утра до ночи с оглядкой спешил нагруженный кладью люд. На предвокальных площадях “древними кочевьями” темнели толпы народа, сутками ожидавшие отхода поезда... По ночам от всеобщего беспорядка часто горели деревянные окраины города. Тогда казалось, что Москва бежит от француза и, спасаясь, сжигает себя» (*Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 460–461*).

87 Там же.

- 88 Там же. С. 458.
- 89 Там же. С. 461.
- 90 Там же.
- 91 Этот когда-то очень изящный доходный дом с угловыми ажурными балкончиками, построенный по проекту В.А.Мазырина в 1890-х гг., подвергся в прошлом веке многочисленным переделкам и сейчас снова находится на реконструкции. Его аутентичный внешний вид просматривается на фотографии № 3086/31 из коллекции Э.В.Готье-Дюфайе.
- 92 В своих мемуарах Ф.А.Степун так написал о совсем юной Ольге Александровне Шор: «Исключительно умная, многосторонне образованная и очень талантливая девушка, с большим успехом читавшая лекции по истории искусства на всевозможных рабочих курсах» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 511).
- 93 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 512. Выступая на приемах в Кремле, Д.С.Шор не раз пользовался сентиментальностью некоторых его обитателей, чтобы выхлопотать чье-то помилование. Когда в том же, печальном для интеллигенции, 1922-м году в Советской России начались массовые аресты сионистов, Давид Шор, через своего приятеля Льва Каменева-Розенфельда (председательствовавшего тогда, в связи с болезнью Ленина, на Политбюро), добился для них замены тюрьмы и ссылки высылкой за границу «без права возвращения». В общей сложности такая мера была применена до начала 1930-х гг. примерно к двум тысячам советских евреев (позднее, выходцы из России, которым инициатива Шора спасла жизнь, посадили в его честь рощу в поселении Бен-Шемен). В 1927 г. Д.С.Шор навсегда уехал в Палестину. Он скончался в Тель-Авиве в 1942 г.
- 94 Подробнее об этом, последнем московском адресе Н.А.Бердяева см.: *Карамурза А.А.* Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // *Философия науки.* 2014. № 4. С. 71–77.
- 95 *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 508.
- 96 *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк первый. С. 399. Позднее, в мемуарах, Степун добавит к этому описанию фразу, важную для него лично: «Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсоветскую жизнь...» (*Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 510).
- 97 Там же. С. 149.
- 98 Там же.
- 99 «Пореволюционный клуб» был основан в мае 1932 г. в Париже по инициативе местного отдела Союза российских национал-максималистов и объединил многих умеренных эмигрантских литераторов и политиков. В его деятельности принимали активное участие парижские друзья работавшего тогда в Дрездене Степуна – И.И.Бунаков-Фондаминский, Г.П.Федотов и монахиня Мария (Е.Ю.Скобцова).
- 100 *Степун Ф.* Идея России и формы ее раскрытия. Ответ на анкету Пореволюционного Клуба // *Новый град.* Париж, 1933. № 8. С. 19–20. В своей относительно поздней статье «Москва – третий Рим» Степун писал, что от идеи

старца Филофея идет прямая линия к новейшей большевистской идеократии с ее идеей «Москвы – столицы Третьего Интернационала» (*Степун Ф.А. Москва – третий Рим // Степун Ф.А. Соч. М., 2000. С. 596–611*).

¹⁰¹ *Степун Ф.А. Религиозный смысл революции // Современ. зап. Париж, 1929. № 40. С. 441.*

¹⁰² *Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия. С. 16.*

¹⁰³ Там же. С. 18, 20. Подробнее о философском различии Степуном «идей» и «идеологий» см.: *Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Филос. журн. 2012. № 2. С. 34–40.*

¹⁰⁴ Там же. С. 155.

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ *Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый. С. 398–399.*

¹⁰⁹ Там же. С. 399.

Петр Бернгардович Струве и концепция «личной годности»

Предисловие

Общая канва эволюции общественно-политических взглядов Петра Бернгардовича Струве (1870–1944) достаточно хорошо известна как из его собственных воспоминаний, так и из серьезных исследований¹. Известно, например, что совсем юный Струве наследовал от отца «патриотические, националистические порывы, окрашенные династическими и в то же время славянофильскими сочувствиями, граничившими с ненавистью к революционному движению»². А первый серьезный мировоззренческий сдвиг произошел в 1885–1886 гг. и был вызван глубоким потрясением от противостояния с режимом кумира его юности, либерального славянофила Ивана Аксакова³. Как результат: идеи «русской исключительности» у юноши постепенно выветриваются; универсальная идея свободы, напротив, укрепляется. Струве, по его собственным словам, «по страсти и убеждению становится либералом и конституционалистом»⁴.

Впрочем, три года спустя он примыкает к марксистам – на этот раз, по его словам, «чисто рассудочным путем»: «Социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем социализма..., придя к заключению, что таков исторически неизбежный результат объективного процесса экономического развития»⁵. К 1900–1901 гг. Струве отходит от социал-демократии: его разводит с ней принципиально разное понимание соотношения «силы» и «права» в историческом развитии⁶. Теперь он – снова либерал и конституционалист, пона-

чалу левого, «освобожденческого», толка. Дальнейшее движение его мысли – в результате осмысления причин неудач русского освободительного движения – идет «вправо», в сторону либерально-консерватизма. В Белом движении, а затем в эмиграции Струве прочно занимает правоцентристские позиции, периодически акцентируя свои конституционно-монархические предпочтения.

Замечено между тем, что на протяжении всей своей богатой событиями жизни П.Б.Струве никогда не тяготел к сколько-нибудь существенной откровенности с публикой: жанр партийной прессы, в котором ему приходилось по преимуществу работать, никак не располагал к исповедничеству. Огромная мыслительная работа, проделанная Струве, еще нуждается в реконструкции, тем более, что его идеи разбросаны по бесчисленным небольшим по объему публикациям. В этой связи представляется интересным сместить ракурс изучения эволюции социально-политической мысли Струве, взяв в качестве идейного стержня, пусть и известный⁷, но, как представляется, недостаточно пока освоенный пласт его творчества, а именно: разработку им концепции *«личной годности»*.

Действительно, в самых разных политических обстоятельствах Петра Струве занимали одни и те же вопросы: По каким законам формируется и ведет себя в истории ее деятель – индивидуальная человеческая личность? Какой строй и за счет каких механизмов наилучшим образом формирует оптимальные для культурного и упорядоченного общежития человеческие качества? Каков, в конце концов, набор этих искомых личностных качеств? Или, подытоживая: как формируется и в чем проявляется «личная годность» человека, и каким образом проникает в историю поведенческая патология? Наблюдая за тем, как на протяжении разных этапов жизни Струве отвечал на эти и сопутствующие им вопросы, мы обретаем одну из впечатляющих картин (по крайней мере, ее четкий абрис), на которую только способен профессиональный мыслитель, – *общеисторическую типологию личностного поведения*. Разумеется, эта концепция не только постоянно уточнялась Струве на протяжении всей его жизни, но и претерпевала существенные трансформации.

«Образованный класс» или «интеллигентщина»?

Известно, что одним из главных посылов в исследовании П.Б.Струве проблематики «личной годности» стала тема роковой мутации русского образованного класса – в «интеллигентщину», что и повлекло за собой цепь катастрофических социальных потрясений. В своей наделавшей много шума «веховской» статье «Интеллигенция и революция» (1909) Струве связал этот процесс с «восприятием русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма»⁸. В соответствии с таким пониманием процесса, «первым интеллигентом» (а, следовательно, первым «антигероем» русской политической культуры) у Струве в «Вехах» оказался Михаил Бакунин: «Без Бакунина не было бы “полевения” Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной *традиции* общественной мысли»⁹.

Этой, «интеллигентской», линии в русской культуре, по мнению Струве, противостояла другая – линия русского «образованного класса»: «Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности»¹⁰. Итак, именно в «Вехах» П.Б.Струве провел крайне ответственное различие двух, принципиально разных, по его мнению, направлений в русской мысли, которое есть различие отнюдь не историко-хронологическое: «Это не звенья одного и того же ряда, это *два по существу непримиримые духовные течения* (курсив мой. – А.К.), которые на всякой стадии развития должны вести борьбу»¹¹.

Особо отметим положительное отношение Струве в «Вехах» к фигуре А.Н.Радищева – это важно для последующего изложения. Противопоставляя Радищева – Бакунину, Струве, разумеется, имел в виду не степень их радикализма – она была высока у обоих. Но в отличие от «упоенного Богом» Радищева, Бакунин для Струве – во-первых, атеист, а во-вторых – социалист, и именно в этом для автора – главная разница¹².

Однако к середине 1920-х гг. оценка Петром Струве Радищева меняется кардинальным образом, и теперь уже именно Радищев объявляется первым (вместо Бакунина) «антигероем» русской интеллигенции. В статье «Радищев и Пушкин», опубликованной в газете «Россия» в октябре 1927 г., существенно поправевший эмигрант Струве противопоставляет Радищева и Пушкина, как, ни много ни мало, представителей *двух противоположных тенденций в русской культуре*: «Вообще в истории русской культуры, быть может, не было людей, более различных по всей их природе, чем Радищев и Пушкин»¹³.

В чем же заключается это принципиальное различие? Струве подробно разьясняет: «Радищев чувствителен, слезлив, слабонервен, психопатичен... Наоборот, Пушкин, будучи подобно Гете, восприимчивым ко всем впечатлениям бытия, был, как и Гете, не только физически и душевно здоров, но и исключительно крепок»¹⁴. При этом Струве добавляет, что перечитав не так давно «Путешествие» Радищева (налицо, таким образом, не поверхностно-случайный, а специальный и глубокий интерес к проблеме), он «получил неотразимое впечатление, что как автор этого произведения, Радищев уже стоял на границе душевной болезни, в припадке которой он наложил на себя руки»¹⁵.

И далее Струве еще более обостряет свою концепцию о двух «психотипах» в истории русской образованности: «Радищев, как неврастеник, не только впадал в преувеличения, но и сам есть какое-то сплошное преувеличение. Пушкин же – воплощенная мера и мерность. Пользуясь тем различием, которое так метко обозначил сам же Пушкин, отличая “восторг” от “вдохновения”, можно сказать, что Радищев был человеком *восторженным*, а Пушкин – *вдохновенным*»¹⁶. Наконец, Струве формулирует финальный тезис, кардинально отличающийся от его ранних интерпретаций феномена Радищева: «Радищев – отец русской интеллигенции и интеллигентщины». Пушкин же – «самый сильный, душевно и духовно здоровый, выразитель свободного от пут учений и лжеучений, творчески мощного русского национального духа»¹⁷.

Итак, новая концепция Струве относительно путей развития русского образованного сословия окончательно проясняется: будучи детищем Петра Великого, это сословие получает здоровое продолжение в пушкинской линии русской культуры; линия Радищева

же – дефектное ответвление русской культурности, продуктом чего и становится феномен «интеллигенции». И основными проявлениями этой «болезни» для зрелого Струве являются уже не столько атеизм и социализм (Радищев, повторяю, не был выразителем ни того, ни другого), а отклонения, скорее, *психические*: избыточная чувствительность, тяга к преувеличениям, отсутствие меры, что неизбежно ведет к политическому радикализму.

Попутно заметим, что цитируемая статья Струве 1927 г. отбирает приоритет у Н.А.Бердяева, по недоразумению отданный ему невнимательными исследователями, – о том, что якобы именно он, Бердяев, является автором концепции «Радищев – первый русский интеллигент». Действительно, в «Истоках и смыслах русского коммунизма» (появившихся на английском языке в 1937 г., а на русском – лишь в 1955 г.) Бердяев писал: «Уже в XVIII в. начал зарождаться тип русской интеллигенции... Первым русским интеллигентом был Радищев, автор “Путешествия из Петербурга в Москву”. Слова Радищева: “душа моя страданиями человеческими уязвлена была” *конструировала тип русской интеллигенции* (курсив мой. – А.К.). Радищев был воспитан на французской философии XVIII в., на Вольтере, Дидро, Руссо. Но он не был антирелигиозного направления, как многие “вольтерианцы” того времени. Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и человеколюбие»¹⁸. Эти фразы Бердяева, написанные, повторяю, в 1937 г., помимо прочего, окончательно дезавуируют противопоставление Петром Струве в 1909 г. «образованного класса» и «интеллигенции», как типологии *общевеховскую* (эта ошибка также кочует из работы в работу)¹⁹.

Разумеется, возникает вопрос: *что конкретно* побудило Струве так радикально пересмотреть в 1920-е гг. типологию течений в русском освободительном движении – по сравнению с «Вехами», где он и так уже достаточно далеко ушел «вправо» в своей критике левого радикализма? Несомненно, что эту эволюцию Струве проделал вслед за своим кумиром – А.С.Пушкиным. Будучи блестящим знатоком творчества Пушкина (об этом еще пойдет речь ниже), Струве, разумеется, знал что «Пушкин ценил и поэтический талант, и свободолюбие Радищева»²⁰. «Правду, однако, сказать, – продолжает Струве, – Пушкин совсем по-иному любил свободу, чем Радищев», и в поздних суждениях Пушкина о Радищеве (речь,

конечно, идет о таких работах Пушкина, как «Мысли на дороге» 1833–1835 гг. и более поздней специальной статьи «Александр Радищев», написанной весной 1836 г.) «чувствуется непрерывный протест здорового уравновешенного человека против преувеличений развинченно-чувствительного психопата»²¹.

«История с Радищевым» – показатель существенного уточнения Петром Струве критериев «личной годности» в эмигрантский период. Однако многие базовые характеристики, намеченные им еще в середине 1900-х гг., долгие годы так и остались неизменными.

Формирование концепции «личной годности»

Один из ближайших друзей и соратников П.Б.Струве (как в России, так и в последующий эмиграции) Семен Людвигович Франк, заметил однажды, что одним из «очарований личности» Струве «было сочетание в нем страстной убежденности, морального пафоса с широким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с признанием законности многообразия индивидуальных дарований, призваний и склонностей»²².

Именно это внимание к «положительной ценности» каждого конкретного человека, добавляет Франк, исключало для Струве возможность быть «партийным человеком» в собственном смысле слова, «быть плененным какой-либо партийной узостью, односторонностью и пристрастностью». Любимым лозунгом Струве было: *«надо рассуждать по существу»*, что для него означало (опять цитирую Франка) «оценивать явления жизни и ценность отдельных людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной ценности – независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или врагом». Франк вспоминал, что Струве «постоянно боролся против распространенной в русской либеральной и радикальной журналистике привычки без разбору высмеивать политических противников, высказывать о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также применять разные мерилы моральной оценки к врагам и друзьям». Франку запомнилось, например, возмущение Струве, когда один из штутгартских сотрудников «Освобождения» грубо-пренебрежительно отозвался в одной из статей о литератур-

ных достоинствах консерватора М.Н.Каткова: идейно-политические расхождения не могли, согласно Струве, колебать качественные оценки масштабной личности. Франк вспоминал также, что и суждения Струве о личном составе русской правящей бюрократии (даже в эпоху юности, когда тот был ее бескомпромиссным оппонентом), всегда были строго индивидуальны: «Струве отчетливо различал в ней между людьми одаренными и бездарными, просвещенными и грубыми, добросовестными и недобросовестными. И такое же различие между людьми он делал позднее в оценке своих политических противников слева... Питая жгучую личную ненависть к Ленину, как натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался о личности социал-демократки Веры Засулич»²³.

Создание основного смыслового каркаса концепции «личной годности» можно отнести к 1906–1907 гг. В статье, написанной на новый 1906-й год и опубликованной в «Русских ведомостях» в первом, новогоднем номере, Струве выдвинул важный тезис о том, что судьбу больших социальных событий в конечном счете определяет *тип человеческого поведения*. Согласно Струве, общественные катаклизмы очень часто провоцируют у людей утрату душевного равновесия и самоконтроля. Такая потеря самообладания может проявляться в двух, внешне несхожих, но в сущности *единых* в своей основе вариантах человеческого поведения. «Жесткие удары, обрушившиеся на нас, – пишет Струве, – могут одних, всегда плывущих по течению, привести к постыдной капитуляции, других – лишить всякого самообладания и довести до иступления. В сущности, эти различные по своим внешним проявлениям состояния *тождественны* (курсив мой. – А.К.), ибо они имеют один глубокий внутренний источник – утрату душевного равновесия»²⁴.

Струве, таким образом, нащупывает тему, которую потом будет многократно варьировать на протяжении всей дальнейшей творческой биографии. Россия, согласно его умозаключению, страдает не только, а подчас и не столько от консервативной негибкости, апатии и конформизма, сколько от ложного активизма – самонакрутки и самоиступления, иногда искусственно спровоцированных и нагнетаемых. Но размах и горячность – вовсе не признак силы: «Бывают исторические моменты, когда сила может быть только в холодном самообладании, в выдержке, в упорстве,

когда размах обнаружил бы только слабость»²⁵. Здесь, как мне кажется, уже намечается тот основной круг личностных человеческих качеств, который впоследствии будет представлен Струве как эталонный набор «личной годности»: «холодное самообладание», «выдержка», «упорство»...

Практически никто из исследователей творчества Струве не написал еще подробно о том, что разработка им концепции «личной годности» в известном смысле была результатом глубокой самокритики и переоценки собственной роли в освободительном движении и привычных методов борьбы с режимом. В статье «Русская идейная интеллигенция на распутье», опубликованной в «Полярной звезде» в конце января 1907 г., Струве фактически пишет о *своем личном распутье*, на котором он сам находился еще совсем недавно. «Политическая мысль интеллигенции наивна еще в том отношении, что ей чужда идея политической ответственности... Кому не чужда политическая ответственность, тот не станет вкладывать в свою политическую проповедь всё, что он лично считает правильным, независимо от того, как отразится в умах слушателей или читателей такая проповедь и какие реальные плоды она может дать»²⁶.

Действительно, нельзя не признать, что совсем недавно сам Струве, согласно его же типологии, был типичным «интеллигентом». Но теперь, в начале 1907 г., сделав выводы из прошедшей революции, он мыслит принципиально иначе: «Сознание политической ответственности свидетельствует не о беспринципности, а, наоборот, о чрезвычайно строгом, принципиально-моральном отношении к политической деятельности... Более высокая степень политического понимания обуславливает более высокую мораль политической деятельности»²⁷.

Особую роль в формировании струвистской концепции «личной годности» сыграл цикл «Размышлений о русской революции», печатавшийся зимой 1907 г. в «Русской мысли». Ключевой здесь стала первая статья, в которой Струве в качестве своеобразного камертона использовал стихи своего друга М.А.Волошина, в частности, его блестящее «Народу русскому: я – скорбный ангел мщениия...». Акцентируя внимание на волошинской строке: «*Один ты видишь свет. Для прочих он потух...*», Струве увидел в ней поэтический ключ к расколдованию всей порочности и беспер-

спективности недавних «революционных событий», прошедших под знаком высокомерного сознания всеми действующими лицами «личной и групповой непогрешимости»²⁸.

Ведь, по мысли Струве, именно «сомнение в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человеческого отношения к другим людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и фактического». В русской же практике «соглашение, или компромисс, недоступен большим политической злобой, насквозь пропитанным “хмельной отравой гнева” (еще одно выражение из Волошина. – А.К.) душам»²⁹.

Центральной публикацией Струве на тему «личной годности» является статья «Интеллигенция и народное хозяйство», появившаяся в «Слове» поздней осенью 1908 г., а затем перепечатанная в «Русской мысли»³⁰. Струве сразу оговаривается, что материалом работы явилось «всё перечувствованное и передуманное за последние пять лет». По его мнению, было бы ошибочно думать, что пережитые Россией годы были «только политическими», и что, соответственно, страна нуждается «только в политическом поучении, в политических выводах». «Чисто политическая точка зрения пока бесплодна», отмечает Струве, и, хотя случившаяся трансформация на основе Манифеста 17 октября 1905 г. есть «огромный принципиальный шаг вперед в политическом отношении», Россия столкнулась с совершенно иными проблемами – *проблемами культурными*. Если раньше, отмечает Струве, можно было говорить о том, «что никакой культурный прогресс невозможен без решительного, принципиального политического разрыва с прошлым», то теперь «так же решительно можно утверждать, что никакой политический шаг вперед невозможен вне культурного прогресса; без такого прогресса всякое политическое завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе»³¹.

Прочный правовой порядок в России до сих пор не обеспечен, констатирует Струве, но «всё свести к критике правительства, значило бы безмерно преувеличивать значение данного правительства и власти вообще». Источник «неудач, разочарований и поражений», постигших Россию, лежит, по его мнению, гораздо глубже: «Даже если бы каким-нибудь чудом политический вопрос оказался разрешенным, решение его лишь более вы-

пукло выдвинуло бы значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество должно задуматься над самим собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо себе осмыслить во всем его национальном значении»³².

Согласно Струве, в России в ходе революции «потерпело крушение целое миросозерцание, которое оказалось несостоятельным». Основами этого миросозерцания, по его мнению, были две идеи: идея *личной безответственности* и идея *равенства*³³. И далее Струве разворачивает принципиально новую в обществоведении аргументацию, венцом которой и становится концепция «личной годности». «В основе всякого экономического прогресса лежит вытеснение менее производительных общественно-экономических систем более производительными. Это не общее место, а очень тяжеловесная истина... Более производительная система не есть нечто мертвое, лишенное духовности. Большая производительность всегда опирается на более высокую личную годность. А личная годность есть совокупность определенных духовных свойств: выдержки, самообладания, добросовестности, расчетливости. Прогрессирующее общество может быть построено только на идее личной годности, как основе и мерило всех общественных отношений»³⁴.

Струве отмечает, что в русской революции идея «личной годности» была «совершенно погашена»: «Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. Идея личной безответственности есть прямая противоположность идее личной годности. Я требую того-то и того-то, совершенно независимо от того, могу ли я оправдать это требование своим личным поведением, во имя равенства всех людей – говорит идея личной безответственности. Я требую того-то и того-то, и берусь оправдать это требование своим личным поведением – говорит идея личной годности. Эти противоположения могут показаться отвлеченными, но мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской действительности»³⁵.

В 1906–1908 гг., в условиях массовой общественной дезорганизации и дезориентации, когда одна часть общества, выражаясь словами Струве, находилась в ситуации «постыдной капитуляции», а другая – все еще пребывала в эйфории «революционного исступления», Струве начинает предьявлять обществу челове-

ские примеры подлинной «личной годности». Увы, поводом для этого, как правило, являлись печальные факты ухода из жизни этих образчиков гражданского поведения.

Семен Франк в своей известной статье об «умственном складе» Струве заострил внимание читателей на этом принципиальном увлечении своего друга – интересе Петра Бернгардовича к отдельным людям, стремлении максимально глубоко вникнуть в индивидуальную человеческую психологию. В этой связи Франк отмечает, что «жанр некрологов» отвечал глубочайшей потребности Струве не только почтить память ушедших, но и предъявить современникам, пребывавшим в состоянии глубокого психологического стресса, назидательные уроки конструктивного и порядочного человеческого поведения. Франк вспоминал: «В “Русской мысли” он (Струве. – А.К.) завел особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истекшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции возникли сомнения в надобности этого отдела некролога, он горячо воскликнул: “Нет, уж оставьте мне моих покойников”»³⁶.

Примеры «личной годности»: Герценштейн, Корсаков, Гейден...

18 июля 1906 г. в Териоках, недалеко от Выборга, был убит черносотенцами депутат распущенной Первой Думы от кадетской партии Михаил Яковлевич Герценштейн – талантливый экономист, финансист и политик. 20 июля П.Б.Струве опубликовал некролог в «Русских ведомостях», где ярко обрисовал всю глубину общественной потери: «Есть что-то бессмысленно-роковое и ужасное в том, что первой жертвой политического фанатизма, распаленного бесславленным торжеством реакции, пал именно такой человек...». Струве справедливо отнес Герценштейна к числу тех сограждан, которые были «так нужны для великой только еще начинавшейся строительной работы»: «Это был настоящий спокойный и в то же время не равнодушный, а стойкий до упорства мудрец... Среди всеобщего возбуждения, среди поголовной нервности поражала и в то же время ободряла *его спокойная ясность и твердость*. Верный себе,

он оставался одинаково чужд и трусливого пессимизма, и мечтательного оптимизма» (везде курсив Струве. – А.К.). Сила людей, подобных Герценштейну, согласно Струве, «заключается в положительной работе, в творчестве, а не в критике и не в отрицании. Он рвался к этой положительной работе, и чисто политическая борьба была для него тяжелым долгом»³⁷. «Спокойствие», «стойкость», «ясность», «твердость» – эти человеческие качества на многие годы составят костяк струвистских критериев «личной годности».

Первая половина 1907 г. принесла новые утраты в когорте людей, единых со Струве «человеческой породы». 8 мая 1907 г. скончался Павел Асигкритович Корсаков – хорошо знакомый Струве старейший деятель тверского земства, одно время влиятельный прогрессивный чиновник (уволенный от должности за подписание «земского адреса» новому царю Николаю II), ставший в конце жизни руководителем крупного банковского учреждения. Вот это совмещение либерального мировоззрения и деловой практической хватки особенно привлекало Струве в людях, подобных Корсакову. «Часто мне приходилось слышать отзывы о П.А.Корсакове, в особенности после того, как он стал банковским деятелем, как о типичном “буржуа”, – писал в некрологе Струве. – Я думаю, что покойный не отрекся бы от этого прозвища; скорее он подхватил бы его и присвоил себе. И, я думаю, он был бы прав. Он был “буржуа” в том смысле, в котором известные “буржуазные” черты неотъемлемы от всякой культуры, основанной, с одной стороны, на дисциплине и личной ответственности, а с другой стороны – на стремлении к наивысшей производительности труда. А может ли быть какая-нибудь культура вне этих начал?»³⁸. Итак, такие качества как «дисциплина», «личная ответственность», «стремление к наивысшей производительности труда» встают в ряд характеристик, определяющих, согласно Струве, идеальный для современной ему России тип человеческой личности.

15 июля 1907 г., в ходе заседаний земского съезда, в Москве неожиданно скончался граф Петр Александрович Гейден – бесспорный лидер общероссийского земского движения. Струве, полагавший политическое поведение Гейдена в годы революции практически безупречным, откликнулся на эту кончину некрологом в «Русской мысли». «Смерть графа П.А.Гейдена, – писал он, – произвела сильнейшее впечатление в самых широких кругах рос-

сийского общества. Почувствовалось, что ушел человек, в котором с удивительной красотой и законченностью сочетались свойства и черты, драгоценные для нашего времени»³⁹.

По словам Струве, передовая российская общественность с «неподдельным восхищением и глубочайшим уважением» следила за деятельностью этого «благородного старца» – «всегда твердого и всегда деликатного, всегда прямого и всегда сдержанного». Сначала на посту Президента Вольного экономического общества, а затем во главе немногочисленной умеренно-либеральной фракции в Первой думе, П.А.Гейден явил себя образцом особого человеческого стиля: «У графа Гейдена был действительно во всем его существе тот стиль свободы и независимости, который делал непереносимым для него всякий рабий образ и всякое хамство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюрократическое... В современном кризисе нужны эти люди, которые в политическом движении являются представителями разума и меры, твердости и сдержанности»⁴⁰.

Проблема «отрицательного отбора»

В первом номере центристского «Московского еженедельника» за 1908 г. Струве опубликовал принципиальную статью под названием «Культура и дисциплина». В ней он постарался проанализировать причины поражения русской революции и пришел к выводу, что они кроются в том, что русское общество, «вдвинутое» в революционные катаклизмы, было лишено *сложившихся механизмов поддержания культуры и дисциплины*. «Дисциплина для личности и общественных групп означает сознательное подчинение известным общеобязательным нормам, вытекающим из существа той или другой объективной культурной задачи. Там, где жива идея дисциплины, там невозможно, чтобы студенты командовали профессорами; чтобы рабочие “явочным порядком” выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть не социализм и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главе людей стояли те, кто умеют к ним подлаживаться и им льстить, а не те, кто знает надлежащий путь и смело указывает его»⁴¹.

Поэтому политические процессы в России по сравнению с устоявшимися обществами Запада протекают принципиально иным образом: «В обществе, в котором есть дисциплина политического поведения, максимум политического авторитета для “толпы” приобретали такие люди, как Гладстон и Дизраэли; в обществе, в котором отсутствовала всякая тень подобной дисциплины, максимум авторитета доставался у “толпы” на долю Гапонов и Аладьиных»⁴².

Эту же тему Струве развил в своих «Размышлениях на политические темы» в мае 1909 г. в газете «Слово». По его мнению, закономерностью русского освободительного процесса является постоянное сетование на «отсутствие талантливых вождей». «В этом обвинении, продолжает Струве, интересно полное извращение истинного соотношения между “ведущими” и “ведомыми” в эпоху русской революции. Кто имел в русском освободительном движении наибольшее личное обаяние и, в силу того, мог иметь наибольшее влияние и сконцентрировать в себе наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые имели наименьшие права на авторитет. Русская “толпа”... сама создавала себе авторитеты. Не подчинялась авторитету, как некоему объективному превосходству, а превращала в авторитет то, что угождало и “служило” ей, толпе. Вот почему до 17 октября (1905 г. – А.К.) единственным действительно влиятельным человеком в массовом народном движении был Гапон. Вот почему самым популярным в широких кругах деятелем первой Думы был г. Аладьин»⁴³.

Напротив, люди по-настоящему политически талантливые (и именно поэтому чаще всего умеренные и независимые) почти всегда отвергаются «толпой» – по причине их мнимой «реакционности». «“Реакция”, “реакционер”, – пишет Струве, – значит, его нечего слушать не только теперь, но и вообще. В стадном обществе действия всякой смелой, дерзающей мысли необычайно легко пресекаются такими обвинениями... При той бесшабашной легкости, с которой у нас раздаются и воспринимаются широкой публикой подобные политические аттестации, смелые и независимые люди попадают в “подозрение”, а люди, умеющие думать и говорить так, как это нравится “большинству собрания”, люди, мыслящие и чувствующие в меру настроения толпы, становятся авторитетами и вершителями. То есть в корне извращается и подрывается та духовная и моральная основа, на которой может держаться авторитет как нечто здоровое и законное... – истинный, а не облыжный»⁴⁴.

Именно эта хроническая «неспособность к качественным оценкам людей», а вовсе не «нехватка людей» обуславливает отсутствие в России подлинных, а не мнимых лидеров: «“Толпа” не умела ни различать, ни признавать истинного авторитета. Именно в этом сказалась политическая и, вообще, духовная незрелость всего народа, и в том числе интеллигентного общества. В дни свобод такого человека, как Д.Н.Шипов, в широких кругах трактовали едва ли не как реакционера... Вобществе с таким духовным складом выдвигать... обвинения в “реакционности” значит не только увековечивать его верхоглядство, но и всячески поддерживать в нем черту, которая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новых государственных порядков»⁴⁵.

Констатируя склонность русской радикальной общественности призывать на лидерские роли «фатально негодных» людей, Струве, помимо предъявления обществу примеров подлинной «годности», начинает не менее важную параллельную работу – вскрытие механизмов «отрицательного отбора» в русском социуме, демифологизацию крайне опасных для дела русской свободы «ложных авторитетов». Рассматривая ретроспективно эту вторую сторону струвистской концепции «личной годности», можно вычленил в рассуждениях Струве *трех исторических деятелей*, которых он наиболее часто приводит в качестве примеров «отрицательного отбора». Выбор этих персонажей глубоко закономерен: каждый из них сыграл по-своему выдающуюся (хотя и в глубоко негативном смысле) роль в определенных исторических фазах русского развития, значимых как для России в целом, так и лично для Струве. Это: Георгий Аполлонович Гапон, руководитель петербургского рабочего движения 1904–1905 гг.; Борис Викторович Савинков – лидер антибольшевистской борьбы; Владимир Ильич-Ульянов Ленин – вожь большевиков и глава советского правительства⁴⁶.

Примеры «отрицательного отбора»: Георгий Гапон

Фигура Георгия Аполлоновича Гапона была, по существу, первой значимой фигурой, олицетворившей для Струве его идею «отрицательного отбора». Вообще, оценка Гапона его современ-

никами из оппозиционного правительству лагеря претерпела со временем разительную трансформацию. Если на волне популярности и влияния Гапона среди питерских рабочих, самые разные силы – социал-демократы, социалисты-революционеры, деятели «Союза Освобождения» – наперебой хвалили его, стремились завлечь в свои ряды, любыми способами «отбив» у конкурентов (в этом деле «отметились» Горький, Ленин, Чернов и др.), то после падения и гибели священника-расстриги те же самые люди начали наперегонки очернять Гапона, подчеркивая собственный приоритет в разоблачении его «ничтожности» и «продажности»⁴⁷.

Сам П.Б.Струве неоднократно отмечал, что он неплохо лично знал Гапона, и в разные периоды им приходилось «подолгу беседовать»⁴⁸. Нет сомнений и в том, что достаточно долгое время Струве, возглавлявший радикальный фланг «Союза Освобождения», очень рассчитывал на Гапона, находившегося в тесном контакте с Петербургским отделением «Союза» – с его лидерами Е.Д.Кусковой, С.Н.Прокоповичем, В.Я.Яковлевым-Богучарским, с которыми бывший за границей Струве, в свою очередь, находился в постоянной переписке. Известно также, что политические разделы гапоновской петиции царю 9 января 1905 г. были написаны именно членами «Союза освобождения», а само шествие, которое организовал и вел за собой Гапон, было воспринято всеми как еще одна манифестация “Союза” Освобождения, одним из следствий чего был арест полицией его руководителей⁴⁹.

По мнению Р.Пайпса, Струве воспринял январские события в Петербурге как *большую личную победу*: «То, что Союзу Освобождения удалось убедить единственную легально функционировавшую рабочую организацию включить в свою петицию требование политической свободы, тем самым выразив согласие совместно с другими социальными классами участвовать в создании конституционного правительства, стало его величайшей, единственной в своем роде победой. Сбылись самые смелые ожидания Струве: весь народ – от аристократа-славянофила до простого рабочего – встал под знамена политической свободы. Это был триумф его программы и его стратегии: все классы и практически все партии страны поняли, что свобода является неперемнным условием жизни. Достижение ее перестало быть абстрактной идеей, с которой носились “обуржуазившиеся” помещики, и стало целью всего народа»⁵⁰.

По свежим следам январских событий Струве опубликовал «гапоновско-освобожденческую» петицию в своем «Освобождении»⁵¹ и лично писал передовицы с осуждением царской расправы над рабочими. «Народ шел к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь, и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем... Он сам себя уничтожил в наших глазах – и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена никем из нас... Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим...» – эти слова из «освобожденческой» статьи Струве⁵² не только по смыслу, но порой и текстуально совпадают с прокламациями самого Гапона, распространяемыми после «Кровавого воскресенья».

Струве продолжал делать ставку на Гапона и в последующие месяцы. Когда летом 1905 г. тот через своих эмиссаров в России принял за создание новой организации, которую предполагалось назвать «Всероссийским рабочим союзом», Струве активно поддерживал это начинание. В июле 1905 г. он писал в Петербург С.Н.Прокоповичу: «Следует, не теряя времени, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с ним рабочей партии и начертания плана компании. Это станет крупным делом и его нужно как можно скорее подвинуть вперед»⁵³.

То, что после поражения революции Струве стал давать Гапону, своему бывшему тактическому союзнику, самые отрицательные характеристики, было признанием его – Струве – личного поражения и в известном смысле его покаянием за былое *«искушение успехом любой ценой»*. Струве вынужден был признать: «Это был человек при всей своей сметливости духовно совершенно ничтожный и глубоко бесчестный. Но в итоге встреч с этой любопытной “исторической фигурой” я понял и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки отмеченным свойствам, а именно *благодаря* им он в свое время явился авторитетом и приобрел такое влияние на умы»⁵⁴.

Примеры «отрицательного отбора»: Борис Савинков

Подобно тому, как Георгий Гапон явился несомненным лидером самого известного и массового выступления петербургского пролетариата, так у антибольшевистской борьбы появился свой

«герой», глубоко взволновавший умы современников, и среди них – Петра Струве. У Бориса Викторовича Савинкова, как известно, были свои яростные почитатели: от четы Дмитрий Мережковский – Зинаида Гиппиус и вплоть до поэта Максимилиана Волошина, который предрекал Савинкову «чрезвычайную роль в окончании русской смуты». С другой стороны, было у Савинкова немало недоброжелателей и врагов, в том числе и в эмиграции, часто формировавшей свои политико-эстетические предпочтения на «духе отрицания». Так, Георгий Адамович, критически оценивая литературные опыты Савинкова, укорял его в «обмельчавшем байронизме», а Владислав Ходасевич, «в пику» нелюбимой им Гиппиус (литературной покровительнице Савинкова и автору его литературного псевдонима «Ропшин»), писал, что в эмигрантских стихах Савинкова-Ропшина «трагедия террориста низведена до истерики среднего неудачника»... Пытаясь преодолеть клановую ангажированность эмигрантских партий, П.Б.Струве в ряде работ попытался сформировать по возможности объективистский взгляд на «феномен Савинкова» в русле созданной им концепции «личной годности».

Струве и Савинков были знакомы: сначала по совместной работе в октябре 1917 г. во Временном Совете Российской Республики (Предпарламенте), а затем – гораздо более тесно – в конце 1917 г. на Дону, в ближайшем окружении генералов Корнилова, Алексеева, Каледина. Тесное общение было продолжено в Москве весной-летом 1918 г., когда они оба работали в подпольных антибольшевистских группах. «Я не раз ходил с ним по Москве и участвовал в ряде важнейших практических совещаний, – вспоминал Струве. – Нас обоих в два счета могли поставить “к стенке”»⁵⁵. Через некоторое время, уже в Париже, Струве и Савинков начали активное сотрудничество в рамках эмигрантских антисоветских организаций⁵⁶.

По мнению Струве, загадка личности Савинкова (как и его последующей трагической гибели) состояла в том, что тот, будучи «весьма одаренным, и одаренным именно активностью», вовсе не имел «железной воли». А потому он «никогда не мог окончательно-несдвигаемо уяснить для себя вопрос: *“революция или Россия?”*» (курсив Струве. – А.К.). Именно потому, что Савинков вовсе не обладал «железной волей» (все рассказы об этом, по мнению Стру-

ве, есть вымысел по преимуществу), он «не мог обуздать своего непомерного честолюбия» и совершить действительно волевой и мужественный акт – «пойти прямо и просто за Корниловым»⁵⁷. Воля, мужество, действенность, согласно Струве, в конечном счете проявляются не в показной и брутальной решительности, а, напротив, – в самообуздании и самоконтроле. У Савинкова же «была неутолимая жажда личного значения и влияния, ненасытная тяга к первой роли, и поэтому, как это часто бывает, он не получил того значения и не сыграл той роли, которые могли бы ему достаться, если бы он их не... искал»⁵⁸.

К размышлениям о Борисе Савинкове Струве вернулся в связи со смертью в эмиграции Н.В.Чайковского – старейшего русского народника, впоследствии активного участника антибольшевистской борьбы, одно время тесно сотрудничавшего с Савинковым. Интересно было наблюдать Чайковского, писал Струве в некрологе, рядом с формально «близким» ему Савинковым: «Трудно представить себе более различных по душевному складу людей». Если «уважающий культуру и тянущийся к религии» мечтатель-демократ Чайковский, согласно Струве, «был простым и простодушным человеком, и поэтому ему была присуща та мудрость, которая не дает человеку быть упрости́телем», то в самолюбивом Савинкове «не было ни грана простодушия»: «Он весь был себялюбие и расчет, с налетом не мечтательного утопизма, а, если угодно, жестокой фантастики». Струве было трудно представить, как незадолго до собственной смерти Чайковский воспринял известие о гибели Савинкова в большевистской Москве: «Быть может, только тогда, когда эта бурная и ослепительная жизнь так завершилась, Николай Васильевич понял, как его простая душа была далека от сложной, себялюбивой душевной извилистости Савинкова»⁵⁹.

А в статье «Нетерпение или активная выдержка», опубликованной первоначально в июне 1926 г. в «Возрождении», Струве опять возвращается к фигуре Савинкова и проблеме «ложного активизма». «Задача непосредственного политического действия в деле борьбы с угнетающим Россию III Интернационалом, – писал Струве, – бесконечно трудна. Она требует сочетания величайшей активности с величайшей *выдержкой*... Трудности нашего положения сейчас, трудности активной борьбы состоят вовсе мне в простом отсутствии активности с чьей-либо стороны, а в объ-

ективной сложности и трудности той обстановки, в которую поставлены действенные души и активные силы. Не в косности, не в вялости чьей-либо тут дело, а в трудности самой задачи»⁶⁰.

Вот почему, полагает Струве, задачей «непосредственного политического действия» является не прямолинейный активизм, а «подбор личных сил»: «Не все, кто призывает к действиям, к сожалению, годны для них. Какие огромные надежды и иностранцы, и очень широкие русские круги возлагали на энергию и способности Б.В.Савинкова, и как они глухи были к нашему скептицизму в отношении к этому весьма одаренному, обладавшему действительно огромной энергией и исключительным опытом в непосредственном политическом действии человеку! Те, кто верили в Савинкова, просто не имели известного, необходимого для подбора личных сил “чувства”. Они не ощущали, не осязали, что в Савинкове не было обязательного в наши дни морально-психологического станового хребта, того духовного стержня, на котором не может не держаться в наше время стойкое политическое действие. Они не обоняли того тлена, который был в Савинкове и который сочетался в нем и со “старорежимным” восприятием политической борьбы наших дней»⁶¹.

И Струве делает важный вывод, а точнее почти дословно повторяет свою догадку, сделанную еще в России на материале «первой революции»: «В русской общественности всегда пагубно отражался один основной, необыкновенно стойкий порок: неспособность качественной расценки людей. Когда-то я об этом писал, имея в виду расцветшую на моих глазах и постыдно канувшую фигуру Гапона. Для той современной борьбы, которую в бесконечно трудных условиях должна вести национальная Россия, сугубо важна правильная расценка людей. Она важна не только потому, что предлежащая задача объективно трудна. Она важна и ответственна еще и потому, что в трудных условиях и зарубежного существования, и того ужасающего гнета, под которым живет Внутренняя Россия, невозможны легкомысленные опыты с людьми, необходимо точное знание их объективной ценности, их личной годности и личной стойкости»⁶².

Наконец, Струве подробно пишет о Савинкове в начале 1928 г. в статье «Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки», опубликованной в газете «Россия». Ему (как и очень многим в эмиграции), по всей видимости, по-прежнему

не дает покоя тот факт, что «в новейшее время», после гражданской войны был «только один опыт активной революционной борьбы против большевиков, опыт более или менее законченный, отошедший в историю и потому подлежащий обдумыванию и обсуждению с общих точек зрения. Это – действительный опыт Савинкова»⁶³.

«Вне всякого сомнения, в очередной раз повторяет Струве, Савинков был не только умный и даровитый человек, это был умный и опытный заговорщик. В нем было много той предприимчивости и “выдумки”, которые необходимы для того, чтобы творить “авантюры”»⁶⁴. Но хотя «авантюра» есть «необходимый элемент заговорщической деятельности», Савинков, по мнению Струве, обладал авантюризмом особого типа: «Авантюризм, будучи, так сказать, формально – психологическим условием и необходимой оболочкой заговорщической политической работы, таит в себе большую опасность. Из условия и орудия работы он может превратиться в основную, задающую тон, поглощающую стихию этой работы; из психологической оболочки – стать душевным ядром или осью, вокруг которой начинает вращаться личность. Это и случилось с Савинковым»⁶⁵.

Но помимо этих качеств, которые «извращали всю контрреволюционную работу Савинкова, отрывая его от живых источников новой, порожденной крушением исторической России, патриотической энергии», – в его личности, по мнению Струве, «был один огромный порок, который становился все явственнее по мере того, как он внешне отрывался от своей прежней революционной среды, не будучи... способен внутренне-душевно пристать к новой, контрреволюционной белой среде». Струве пишет: «Савинков по своей натуре был лишен нравственного пафоса и морального стержня. Он был самолюбив и честолюбив. Это не беда, и даже для крупных исторических деятелей известная доза самолюбия и честолюбия есть необходимое *осоление* их общественного призвания и творчества. Но никогда ни один общественный деятель не может безнаказанно и для дела, и для своей роли в нем превращать себя из орудия объективной высшей задачи в ее цель и венец»⁶⁶.

«В каких бы условиях не производилась политическая работа, делает важный вывод Струве, в удушливом ли предбурье скрытой или в бушующем урагане открытой гражданской войны, на относительно ли мирном и плавном ходу государственного корабля или

же в перипетиях внешних столкновений народов – такая политическая работа должна быть не только на словах, но и на деле подчинена началу служения. Ни монарх, ни революционер не могут безнаказанно переставать быть слугами своего призвания и своей задачи и становиться их господами. В контрреволюционной работе Савинкова как-то ослабело и сникло начало служения, которое никогда не было сродни его эгоцентрической натуре»⁶⁷.

Примеры «отрицательного отбора»: Владимир Ульянов-Ленин

Как известно, в середине 1890-х гг. молодой марксист П.Б.Струве достаточно тесно сотрудничал с В.И.Ульяновым-Лениным. За их идейную близость и общую решительность в борьбе с русским народничеством их «политический тандем» даже прозвали «близнецами». Впоследствии, по не вполне объясненным самим Струве причинам, он избегал подробно высказываться о бывшем приятеле, с которым позднее радикально разошелся. Воспоминания Струве о Ленине, написанные в эмиграции в конце жизни, были опубликованы сначала в 1934 г. в «Slavonic Review» на английском языке, и только в 1950 г. (уже после смерти Струве) увидели свет на русском языке в издаваемом теперь уже С.П.Мельгуновым «Возрождении»⁶⁸. Тем не менее, без этой оценки Ульянова-Ленина концепция «личной годности» П.Б.Струве была бы очевидно неполной.

Согласно воспоминаниям Струве, он в первый раз увиделся с Владимиром Ульяновым-Лениным «в осенний или зимний день 1894 г.» в квартире инженера Классона на Охте, почти напротив Смольного института. «Впечатление, с первого же разу произведенное на меня Лениным – и оставшееся во мне на всю жизнь – было неприятное, – вспоминал Струве. – Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какая-то издевка, частью намеренная, а частью неудержимо стихийная, прорывавшаяся из самых глубин его существа в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел, как на своих противников. А во мне он сразу почувствовал противника... В этом он руководился не рассудком, а интуицией, тем, что охотники называют “чутьем”»⁶⁹.

Характер Ульянова-Ленина Струве имел возможность позднее сравнить с характером Г.В.Плеханова. «В нем (Плеханове. – А.К.) тоже была резкость, граничившая с издевкой, в обращении с людьми, которых он хотел задеть или унижить. Все же, по сравнению с Лениным, Плеханов был аристократом. То, как оба они обращались с другими людьми, может быть охарактеризовано непереводаемым французским словом “cassant”. Но в ленинском “cassant” было что-то непереносимо плебейское, но в то же время и что-то безжизненно и отвратительно холодное»⁷⁰.

«В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость», – вспоминал Струве, делая при этом парадоксальный вывод: «Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы, как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда преподносилась не одна цель, более или менее отдаленная, а целая система, целая цепь их. *Первым звеном в этой цепи была власть в узком кругу политических друзей* (курсив Струве. – А.К.). Резкость и жестокость Ленина – это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи – была психологически связана, и инстинктивно и сознательно, с его неукротимым властолюбием. В таких случаях обыкновенно бывает трудно определить, что служит чему, властолюбие ли служит объективной цели или высшему идеалу, который человек ставит перед собой, или, наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь средствами утоления ненасытной жажды власти»⁷¹.

«Самой разительной чертой» в Ленине, открывшейся Струве «с первой же встречи», была именно «жестокость» – «в том самом общем философском смысле, в котором она может быть противопоставлена мягкости и терпимости к людям и ко всему человеческому»⁷².

В соответствии с этой «преобладающей чертой» в характере Ленина, продолжает Струве, «главной установкой» его (Струве употребляет здесь популярный немецкий психологический термин Einstellung) была «ненависть»: «Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истре-

блению врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов – “либералов” и “буржуазию”. В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо коренясь в конкретных, я бы сказал даже животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как самое существо Ленина»⁷³.

Таким образом, общая идея мемуаров Струве о Ленине состояла в том, что, не отрицая тесное «умственное общение» («особенно в течение многих зимних часов 94–95 гг.») Струве «никогда не был и не мог быть в близких личных отношениях с ним», ибо «этот человек был по своему складу ума совершенно мне чужд»⁷⁴. «В сущности, в лице Ульянова-Ленина и моем столкнулись две непримиримые концепции – непримиримые, как морально, так и политически и социально. Каждый из нас понимал это в то время, но смутно; лишь позже мы отчетливо осознали это»⁷⁵.

Герои Белой борьбы

Большой и разнообразный материал для построения Петром Струве его концепции «личной годности» дало ему участие в Белом движении. В оценке этого явления, которое Струве всегда анализировал не только политически, но, возможно, в первую очередь, *этически*, проявилась глубокая христианско-либеральная подоснова его «человеческой типологии».

Так, Струве всегда отказывался мерить «личную годность» критериями «эффективности» и «успеха». Действительно, все герои Струве, как уже перечисленные (Герценштейн, Корсаков, граф Гейден), так и не перечисленные, – это люди формально «побежденные». Но Струве, как истинному христианину, глубоко претили «низость и хамство тех, кто обо всем судил и судит по успеху». Вот и подвиг участников Белой борьбы для него – это подвиг *«побежденных непобедимых»*.

Летом–осенью 1926 г. руководимая Струве газета «Возрождение» напечатала серию «Очерков Ледяного похода», написанных близким другом Струве – Николаем Николаевичем Львовым. Речь

в очерках шла о легендарном 1-м Кубанском (Ледяном) походе Добровольческой армии из Ростова в Новочеркасск в феврале–апреле 1918 г., в ходе которого сложился костяк и была сформулирована идеология Белой армии. «Ледяной поход», по мнению Струве, стал «целой эпопеей героизма и жертвенности», которая есть «неотделимое и драгоценное достояние национальной России, тот свет, который светил, светит и будет нам светить во всякой тьме»: «Здесь излились и просияли такие нравственные силы, здесь собраны такие душевные сокровища, которые будут вдохновлять и питать целые поколения»⁷⁶.

Но «Ледяной поход», согласно Струве, явился образцом «самого трудного героизма» – героизма, «который унижался и уничтожается до сих пор со всех сторон». «Были и есть враги, – пишет Струве, – и злостные, нападающие, и клеветущие. Но не лучше, а может быть, хуже их равнодушные и холодные, проходившие мимо. И всего хуже, может быть, даже не вражда и злословие, не равнодушные и холод, а *низость* и *хамство* тех, кто обо всем судил и судит *по успеху*, кто увлекался и восторгался, когда ждал победы, но кто отпал духовно и изменил душевно, когда счастье отвернулось»⁷⁷.

То, какой высокий статус придавал сам Струве этической стороне своей «человеческой типологии» применительно к оценке Белого движения, свидетельствует небольшая, но весьма принципиальная статья, опубликованная в «России и славянстве» в дни празднования в зарубежье 70-летнего юбилея старшего и стариннейшего внутрилиберального оппонента Струве – Павла Николаевича Милюкова⁷⁸. Струве сразу оговаривается, что, по большому счету, его претензии к Милюкову не носят чисто политического характера, и уж во всяком случае «тут не играют вовсе роли какие-нибудь счета “правых” с кадетским лидером о том, что было до революции 1917 г.». «Наше разногласие и разночувствие с Милюковым как политиком вообще не укладывается в чисто политические рамки», – настаивает Струве. Речь, по его словам, идет о гораздо более существенном – *о принципиально разном отношении к людям и их личностным переживаниям.*

По мнению Струве, П.Н.Милюков всегда поражал его «исключительным искусством располагать идеи, аргументы, и в этом смысле “аранжировать” – “вещи”». Милюков, согласно Струве, – исключительный по ловкости «аранжер и калькуля-

тор», т. е. «устроитель и расчислитель» идей и идейных комбинаций: «Если бы политика была шахматной игрой и люди были бы деревянными фигурками, П.Н.Милюков был бы гениальным политиком»⁷⁹.

Однако, «будучи вдумчивым и осторожным аранжером и методическим и осторожным калькулятором идей и в этом смысле вещей», Милюков, по мнению Струве, *«роковым образом не способен видеть и ощущать живых людей* (курсив мой. – А.К.), им со-чувствовать и со-страдать, а потому на них влиять, ими управлять, ими распоряжаться»⁸⁰. В области «со-чувственного проникновения в живые человеческие души П.Н.Милюков достаточно бессилён, и в этом причина, субъективная и объективная, его роковых внутренних неудач как политика в широчайшем смысле слова». Отстранившись от «белой армии» после крымской эвакуации 1920 г., Милюков, по мнению Струве, «как-то задел и ранил самое чувствительное место в национальной душе русских людей, пребывающих в изгнании»⁸¹.

Петру Струве принадлежат удивительные личностные характеристики главных героев Белой борьбы – за этими короткими зарисовками совершенно очевидно стоит огромная мыслительная работа. В этом смысле выделяется, например, короткая, но чрезвычайно емкая по смыслу речь Струве на публичном заседании 13 апреля 1923 г. в Праге в память Л.Г.Корнилова, устроенном Галлиполийским студенческим землячеством и Русским Национальным Студенческим объединением. Рассказывая эмигрантской молодежи о легендарном Корнилове, Струве оговаривается, что «быть может, нет для исторической психологии задачи более трудной и в то же время более привлекательной, чем следить за разными видами, формами и этого замечательного явления – человека, ставшего легендой»⁸².

Струве крайне высоко ценил Л.Г.Корнилова, с которым был близко знаком: «В нем было величайшее напряжение героической воли, героизмом заражавшее все окружающее... Он был деятельный герой, сам ставивший себе задачи, своим волевым напряжением их творивший и осуществлявший и этим напряжением зажигавший других. Железный исполнитель долга и деятельный герой-творец в одном лице, живое воплощение героической воли и ее магнетизма»⁸³.

Но в своей речи, очень далекой от мемуарной описательности, Струве не хочет ограничиться апологетикой Корнилова. Не менее важна, полагает он, сравнительная оценка сильных характеров: «люди распознаются в сопоставлении с другими, сравнимыми с ними»⁸⁴. И чтобы дать аудитории точное понимание феномена Корнилова, Струве сравнивает его с другими легендарными лидерами Белой борьбы – М.В.Алексеевым, А.М.Калединым, А.В.Колчаком. Вот эти сравнительные характеристики, которые можно считать вершинами аналитических возможностей концепции «личной годности».

Алексеев: «Как человек долга, т. е. как трезвый слуга-исполнитель его велений, М.В.Алексеев был сильнее и как-то... осязательнее Корнилова, но того особенного и собственного напряжения героической воли, которое было в Корнилове и излучением которого он заражал все вокруг себя, в Алексееве не было. В его трезвой и сухой личности не было корниловского магнетизма»⁸⁵. Каледин: «Каледин был героической фигурой – это был какой-то римлянин в обличье донского казака. Но, будучи верным исполнителем долга, суровым и к себе и к другим, Каледин оказался буквально не в силах жить и устоять в удушающей атмосфере гражданской войны. Он был воином, но не борцом»⁸⁶. Колчак: «В нем нервность натуры, в этом отношении почти женственной, не давала воле доходить до того самобытного героического напряжения, которого достиг Корнилов. Колчак был гораздо больше поставлен другими, чем сам стал на место, на котором он стоял. У Колчака не было той неукротимой и в то же время стальной активности, какую был одарен Корнилов»⁸⁷.

А вот апофеоз речи Струве, где он сводит все характеристики воедино, предварительно оговорившись: «Я ощущаю их личности в каких-то физических образах и символах». «Алексеев – это массивная железная балка-стропило, на которое в упорядоченном строе и строительстве можно возложить огромное бремя и оно легко подымет это бремя»; «Каледин – это мощный камень, как бы вросший в свою историческую почву и вне ее беспомощный и слабый»; «Колчак – это сосредоточенный в целую даровитую личность нерв, чувствительная струна, которой угрожало порваться или быть прорванной»; «Корнилов – это стальная и живая пружина, которая, будучи способна к величайшему напряжению, всегда возвращается к исходному положению, подлинное воплощение героической воли»⁸⁸.

«Идеальная русская личность»: Иван Сергеевич Аксаков

Важным элементом концепции «личной годности» П.Б.Струве были его размышления об «идеальной русской личности». По его собственным воспоминаниям, его первой в жизни «идеологической любовью» были «славянофилы вообще» и, в первую очередь, Иван Сергеевич Аксаков⁸⁹. До конца жизни убежденный западник, Петр Струве считал, что именно славянофил Иван Аксаков – есть «первый по специфической духовной одаренности и значительности русский публицист... В русской публицистике нет лучшей защиты свободы слова и совести, чем классические статьи на эти темы Ивана Аксакова»⁹⁰.

Что особенно привлекало уже юного Петра Струве в И.С.Аксакове, так это то, что тот сумел удивительным образом соединить все то лучшее, что было выработано в замечательной семье Аксаковых: «художническая чуткость к быту и природе» отца, Сергея Тимофеевича, и «философски-исторический интерес к народу» старшего брата Константина сопряглись у Ивана Сергеевича с «величайшей действенностью»⁹¹.

Как младший сын в семье, вспоминал Струве, он очень рано был приобщен «ко всему тому, что тогда составляло духовное содержание жизни»: «Вместе со своей семьей я пережил эпопею русско-турецкой войны и ее финал – Берлинский конгресс и трактат, заключение которого вызвало пламенный протест – историческую речь Ивана Сергеевича Аксакова. Мы, дети (да и одни ли только дети?), конечно, мало понимали в политике, но мы с волнением ощущали, что Россия оскорблена и унижена в своем национальном и славянском призвании. А когда Иван Аксаков громко и мужественно поведал всему миру об этой обиде, – наши души трепетали созвучно с его боевым духом русского и славянина, глашатая и вождя»⁹².

Тетрадки аксаковской «Речи», вспоминал Струве, «с увлечением читались и прилежно перечитывались»: «Я втихомолку строил что-то для «Руси, скрывая написанное и от родителей, и от братьев. Мать моя что-то писала и Достоевскому, и Аксакову»⁹³. До конца жизни Струве помнил в подробностях тот важный для всей их семьи эпизод, когда летом 1882 г., будучи проездом в Москве,

они удостоились посещения Иваном Аксаковым их гостиничного номера в «Славянском базаре»: «Он пришел отдать визит моему отцу и поблагодарить мою мать за читательское сочувствие... В маленьком теле Ивана Аксакова была как-то собрана огромная ответственность и законченно выразилось то своеобразное сочетание неукротимого восторга и боевой энергии с трезвостью, с чувством меры и возможностей, с хозяйственной деловитостью, сочетание, в котором вся сила и прелесть подлинного политического горения и национально-государственного делания»⁹⁴.

На многие годы И.С.Аксаков стал для Струве образцом человеческой «действенности» (именно это слово встречается в работах Струве об Аксакове наибольшее число раз). В нем особенно поражало то, что, «будучи приверженцем и носителем мировоззрения и писателем, он не замкнулся ни в учении, ни в теории, ни в писательстве или пропаганде. В лице Ивана Аксакова... славянофильство спустилось с высоты историко-философского учения и вошло в реальную жизнь»⁹⁵.

Высокие идеалы и – одновременно – умение претворять их в жизнь; подлинное свободолюбие и – в то же время – обостренное национальное чувство: в этих парадоксальных, на первый взгляд, соединениях был удивительный секрет Аксакова, волновавший и воодушевлявший Струве на протяжении всей его жизни: «В этом смыкании был свой стиль или, да позволено будет употребить одно из излюбленных самим Иваном Сергеевичем и красивых русских слов, был свой “лад”, т. е. своя собственная смысловая красота, воистину музыкальная... Эта духовная музыка была гармонически проникнута двумя основными мотивами-идеями: идеей свободной личности и идеей себя сознающего и утверждающего народа... Вот почему Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и гражданина, и за национальное начало. Ему было присуще острое и тонкое чувство права, укорененного в правде, и глубокое, трепетно-восторженное ощущение соборного начала народности»⁹⁶.

Собственно, непосредственным импульсом становления молодого Петра Струве как убежденного либерала стал конфликт И.С.Аксакова в конце 1885 г. с цензурным ведомством, конфликтом, ускорившим его кончину. Струве вспоминал: «Его (Аксакова. – А.К.) статья в “Руси” против цензурного ведомства, которое

почти перед самой смертью знаменитого публициста осмелилось обвинить его в “недостатке истинного патриотизма”, читалась и перечитывалась людьми нашего поколения буквально с трепетом и восторгом, как беспримерно-мужественное обличение бюрократической тупости и как такая же защита свободной речи»⁹⁷. «Либерализм – это и есть истинный патриотизм» – это кредо Петра Бернгардовича Струве было несомненно унаследовано им от И.С.Аксакова⁹⁸.

«Идеальная русская личность»: Борис Николаевич Чичерин

Своим непосредственным предшественником в выработке концепции «личной годности» П.Б.Струве считал русского правоведа и философа Бориса Николаевича Чичерина, к анализу творчества которого он возвращался неоднократно. Интересно, что в годы своей «марксистской молодости» Струве оказался, по его собственным словам, «последним представителем русской радикальной публицистики, крестившим шпаги с либеральным консервативным Чичериным»⁹⁹.

В 1897 г. Струве опубликовал в «Новом слове» критическую статью об исторических взглядах Чичерина¹⁰⁰. Однако достаточно скоро Струве, по его признанию, «пришел в своих собственных путях к общественно-политическому мировоззрению, близкому к взглядам покойного московского ученого»¹⁰¹. Либерально-консервативный синтез, который олицетворял собой Чичерин, был, согласно Струве, наиболее оптимальной мировоззренческой и общественной позицией, ибо мог одновременно и гармонично решать две главные российские проблемы: проблему «освобождения лица» и проблему «упорядочения государственного властвования, введения его в рамки правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения»¹⁰².

До Чичерина попытки решить эти две проблемы предпринимались почти исключительно «по двум параллельным осям: по оси либерализма и по оси консерватизма»: «Для индивидуальных сознаний эти оси по большей части никогда не сближаются и не сходятся. Наоборот, по большей части они далеко расходятся». И в

этом смысле именно Чичерин представил в истории русской культуры и общественности «самое законченное, самое яркое выражение гармонического сочетания в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма»¹⁰³.

В чичеринской критике радикальной публицистики Герцена Струве усматривал первые наметки близкого ему культурно-антропологического подхода к политической истории. Чичерин, по его мнению, был абсолютно прав, когда в своем «Письме к издателю Колокола» (1858 г.) предупреждал о недопустимости проявлений политической нетерпеливости в обществе, еще не выработавшем гражданских добродетелей и способности к самоограничению. Особенно ценил П.Б.Струве сборник Чичерина «Несколько современных вопросов» и прежде всего статью «Меры и границы», где Чичерин «превосходно охарактеризовал русские чрезмерности вообще и тем самым наперед обрисовал чрезмерности большевизма и его “эмигрантского” отражения, евразийства»¹⁰⁴.

Общеисторическую позицию Чичерина, с которой он был абсолютно солидарен, Струве изложил следующим образом: «Поскольку он (Чичерин. – А.К.) верил в реформаторскую роль исторической власти, т. е. в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин выступал как либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либерального и радикального общественного мнения. Поскольку же власть стала упорствовать в реакции, Чичерин выступал как консервативный либерал против реакционной власти, в интересах государства отстаивая либеральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы и требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и последовательно, в царствование Николая II коренного преобразования нашего государственного строя»¹⁰⁵.

Когда в 1928 г. исполнилось 100-летие со дня рождения Б.Н.Чичерина, Русский институт в Белграде организовал торжественное заседание, на котором выступил и П.Б.Струве. В своей речи он сказал об актуальности либерально-консервативных идей Б.Н.Чичерина для всех, кто борется за освобождение России от большевизма. «Что отстаивал в свое время Чичерин? Свободу экономическую и свободу гражданскую. А это как раз то, что нужно современной, изнывающей под ярмом коммунистического большевизма России. Экономическую свободу Чичерин отстаивал против

социализма, и эта именно свобода, т. е. разрыв всех сковывающих экономическую жизнь России насильнических (по новой терминологии, “идеократических“) пут... Гражданскую свободу Чичерин отстаивал против абсолютизма»¹⁰⁶.

«Идеальная русская личность»: Александр Сергеевич Пушкин

Через всю свою жизнь П.Б.Струве пронес огромный интерес к жизни и творчеству А.С.Пушкина. Но был в его биографии один эпизод, когда Пушкин стал, и уже навсегда, поистине главным героем размышлений Струве об «идеальной русской личности». Летом 1918 г., покинув большевистскую Москву в расчете попасть на территорию, которая, как тогда казалось, могла быть уже занята высадившимися севере России англичанами, Струве и его спутник Аркадий Борман (сын известной кадетской журналистки А.В.Тырковой-Вильямс) оказались в поместье Алятино, в сорока верстах к югу от Вологды, принадлежавшем родителям школьного друга Бормана. Там, по воспоминаниям последнего, они со Струве прожили август и сентябрь, и все это время Струве работал в великолепной библиотеке хозяев. Основываясь на мемуарах Бормана, Р.Пайпс пишет: «Струве с головой ушел в книги. Особенно интересовал его Пушкин, воплощавший, как полагал Струве, все лучшее и обнадеживающее, что было в русской культуре. Он *проштудировал пушкинское собрание сочинений от корки до корки* (курсив мой. – А.К.) и сразу же задумал новую книгу: трактат о Пушкине и его значении для русской жизни. Книга, разумеется, так и осталась ненаписанной. Но подборка пушкинских цитат и пушкинский словарь, составленные им тогда, время от времени всплывали в работах периода эмиграции»¹⁰⁷.

Струве увидел в Пушкине идеальное сочетание двух качеств: любви к свободе и любви к национальной форме порядка; он был согласен со старым определением Пушкина кн. Вяземским как *либерального консерватора*. В работе «Политические взгляды Пушкина» Струве писал: «Пушкин непосредственно любил и ценил начало *свободы*. И в этом смысле он был *либералом*. Но Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начало власти и его

национально-русское воплощение, принципиально основанное на законе, принципиально стоящее над сословиями, классами и национальностями, укорененное в вековых преданиях или традициях народа *Государство Российское* в его исторической форме – свободно принятой народом наследственной *монархии*. И в этом смысле Пушкин был *консерватором*»¹⁰⁸.

Вслед за Гоголем и Достоевским, Струве полагал, что Пушкин является образцом русской гражданской зрелости. «Пушкин не отрицал *национальной* силы и *государственной* мощи, – писал Струве в “Возрождении” в июне 1926 г... – И в то же время Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель земной *силы* и *человеческой мощи*, почтительно *склоняется перед неизъяснимой тайной Божьей*, превышающей всё земное и человеческое... Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна *мерой* и в меру собственного *самоограничения* и самообуздания. Ему чужда была нездоровая *расслабленная* чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время “максимализм”, который рождается в угаре и иссякает в похмелье (курсив везде П.Б.Струве. – *А.К.*)»¹⁰⁹.

Развивая свою культуроцентричную концепцию истории, Струве представлял себе борьбу с большевизмом, как борьбу культуры – с «новым варварством»: «Та борьба, которую мы ведем с большевизмом и советским гнетом, не есть только политическая борьба и не в политике содержится ее конечное оправдание. Совсем наоборот. Наша политическая непримиримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего нам, гражданам права, она есть наша обязанность, как носителей культуры, перед соборным существом, перед “мистическим телом”, именуемым – Россия»¹¹⁰. И в этом смысле закономерно, что лидером борьбы за русскую культуру должен стать абсолютный человек культуры, ее символ. Таким символом несомненно является Пушкин, в лице которого, «быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого, история подвела итог огромной культурно-национальной работе»¹¹¹.

Пушкин, согласно Струве, – «самый объемлющий и в то же время самый гармонический дух, который выдвинут был русской культурой... Он был – до конца прозрачная ясность, всеобъемлющая сила, воплощенная мера... Этой мерной силе было присуще

величайшее творческое спокойствие, ей была свойственна спокойная и ясная справедливость»¹¹². Именно такой водитель нужен России в борьбе с «новым варварством», в котором «западная отравка интернационального коммунизма сочетается с архи-русским ядом родной сивухи»¹¹³.

Струве видел в Пушкине «первого и главного учителя для нашего времени»¹¹⁴. Вот почему, цитируя стихотворения Пушкина в июне 1930 г. в Белграде, Струве говорил, что «дух Пушкина... велит изгнать из тела и души России полонившие ее бесовские силы безобразного большевизма и утвердить вновь свободу человека, его “по воле Бога самого” основанное “от века” *самостоянье*»¹¹⁵. Струве верил в наступление «русского Возрождения», которое начнется «под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением Пушкина»¹¹⁶.

Послесловие

Свою концепцию «личной годности» Петр Бернгардович Струве считал творческим развитием либеральной идеи, ее реализацией в общественной практике: «Если в идее свободы и своеобразия личности был заключен вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной годности перед нами вечный реалистический момент либерального мирозерцания»¹¹⁷.

Истоки своей позиции Струве находил в «радикальном протестантизме разных оттенков и разных стран, провозгласившем автономию личности. Из этой идеи религиозной автономии вытекало и начало веротерпимости – не как выражение религиозного безразличия, а как высшее подлинно-религиозное признание идеи свободы лица»¹¹⁸. Струве верил, что «личная годность» станет важнейшим принципом возрожденного христианского миропонимания, «в котором воскреснут старые мотивы религиозного, выросшего из христианства, либерализма – идея личного подвига и личной ответственности, осложненная новым мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автономия... Человек как носитель в космосе личного творческого подвига – вот та центральная идея, которая... захватит человечество, захватит его *религиозно* и волеет в омертвевшую личную и общественную жизнь новые силы. Такова моя вера»¹¹⁹.

Примечания

- ¹ См. напр.: *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. Литературно-политические тетради / Под ред. С.П.Мельгунова. Париж, 1950. № 9–10, 12; *Пайнс Р.* Струве: левый либерал. 1870–1905. М., 2001; *он же.* Струве: правый либерал. 1905–1944. М., 2001.
- ² *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение, 1950. № 9. С. 115.
- ³ Эту точку зрения высказывает, например, Р.Пайнс, который пишет, что переход к либерализму в середине 1880-х гг. явился у Струве «результатом внезапного озарения»: «При каких обстоятельствах это произошло мы можем только догадываться. Однако имеются твердые указания на то, что этот интеллектуальный кризис был спровоцирован последним столкновением, имевшим место между И.Аксаковым и цензурой незадолго до его смерти в январе 1886 года» (*Пайнс Р.* Струве: левый либерал. С. 39). Более подробное исследование доказывает полную обоснованность этого предположения. (См.: *Карамурза А.А., Жукова О.А.* Свобода и вера. Христианский либерализм в русской политической культуре. М., 2011. Гл. 4).
- ⁴ *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. 1950. № 9. С. 116.
- ⁵ Там же.
- ⁶ Эту противоположность взглядов либералов и социал-демократов П.Б.Струве четко изложил на страницах «Освобождения»: «Мировоззрению социал-демократии... чужда идея права. Реакционное насилие самодержавия социал-демократия желает побороть революционной силой народа. Культ силы общий с ее политическим врагом; она желает только другого носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее мировоззрении есть не идея должного, а приказ сильного. Мы с социал-демократами (и вообще с революционерами) расходимся не только в тактике и даже не только в программе, но в самых основах мирозерцания. У нас с ними различные принципы» (Освобождение. 5 окт. 1905. № 78–9.).
- ⁷ См. напр.: *Гайденок П.П.* Под знаком меры // Вопр. философии. 1992. № 12.
- ⁸ *Струве П.Б.* Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 156. Разноплановая критика русской интеллигенции содержится в «Вехах» и в статьях Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, С.Н.Булгакова, а также других участников сборника, но лишь у Струве – и это отметили и вполне оценили оппоненты – эта критика получила законченное концептуальное обоснование.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Там же. Известно, что за эту весьма провокативную типологию русской культуры 39-летний Струве немедленно подвергся беспощадной критике, в том числе со стороны коллег по либерально-демократическому лагерю. Оппонентов, надо думать, особенно раздражило то, что сам Струве еще совсем недавно был апологетом русской интеллигенции и признавал за честь состоять в ее рядах. (См. напр.: *Милоков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Интеллигенция в России. Сб. ст. СПб., 1910.)

- 12 Стоит добавить, что вполне позитивное отношение Струве к Радищеву просматривается и до «Вех», а также определенное время после их выхода. См. например, полемику с националистом А.С.Меньшиковым в работе «Клевета и на предков, и на Конституцию» начала 1908 г. (*Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 103*) или статью «Исторический смысл русской революции» в сборнике «Из глубины» 1918 г. (Вехи. Из глубины. С. 464.)
- 13 *Струве П.Б.* Радищев и Пушкин // *Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981. С. 69.*
- 14 Там же.
- 15 Там же.
- 16 Там же. С. 70.
- 17 Там же.
- 18 *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 19.
- 19 Более того, слова Бердяева о «сострадательности и человеколюбии», как «конструирующих» признаках русской интеллигенции, и о Радищеве, как, соответственно, «первом интеллигенте», скорее напоминают аргументацию, развернутую против Струве в 1909 г. его критиками – П.Н.Милюковым, И.И.Петрункевичем, Н.А.Гредескулом... Не приходится, однако, сомневаться, что к 1937 г. Бердяев был прекрасно осведомлен, что его бывший соавтор по «Вехам» по крайней мере уже к 1927 г. принципиально уточнил свою «веховскую» трактовку русской интеллигенции.
- 20 *Струве П.Б.* Радищев и Пушкин. С. 69.
- 21 Там же. С. 69–70. Как представляется, прав В.К.Кантор, который полагает, что Пушкин отказался от ранней редакции своего «Памятника»: «вослед Радищеву восславил я свободу...» не только из цензурных соображений, а «уточняя свою поэтическую и политическую позицию». (См.: *Кантор В.К.* Откуда и куда ехал путешественник? «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева // *Вопр. лит. 2006. № 4.*)
- 22 *Франк С.Л.* Умственный склад, личность и воззрения П.Б.Струве // *Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 480–481.*
- 23 Там же.
- 24 *Струве П.Б.* Накануне Нового (1906) года // *Patriotica. С. 15.*
- 25 Там же.
- 26 *Струве П.Б.* Русская идейная интеллигенция на распутье // *Patriotica. С. 16.*
- 27 Там же. С. 16–17.
- 28 *Струве П.Б.* Из размышлений о русской революции. 1. «Современность» и «элементарность» русской революции // *Patriotica. С. 25.*
- 29 Там же. С. 25–26.
- 30 Такое дублирование, нечастое для Струве, подчеркивает значение, которое он сам придавал этой статье. См.: *Струве П.Б.* Интеллигенция и народное хозяйство // *Patriotica. С. 202–208.*
- 31 Там же. С. 202.
- 32 Там же.
- 33 Там же.
- 34 Там же. С. 203.

- 35 Там же. При этом Струве оговаривается, что нарочно избегает в своей аргументации слова «социализм», хотя «идея безответственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой популярной кличкой»: «Дело тут в идеях не как отвлеченных построениях, а как живых силах. Если идея личной годности есть идея “буржуазная”, то я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий – органический “буржуа”, который в своем поведении так же не может отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может разучиться передвигаться на двух ногах» (там же). Догадка Струве о том, что идея «личной годности» – универсальна и гораздо более фундаментальна, чем разделение обществ на «социалистические», «буржуазные» и пр., полностью подтвердилась и пост-коммунистическим развитием России. Человеческая «негодность» и «безответственность» перебороли в России не только «социализм», но и тот странный «капитализм», который пришел ему на смену.
- 36 *Франк С.Л.* Умственный склад, личность и воззрения П.Б.Струве. С. 478.
- 37 *Струве П.Б.* Памяти М.Я.Герценштейна // *Patriotica*. С. 21–22.
- 38 *Струве П.Б.* Памяти А.А.Бакунина и П.А.Корсакова // *Patriotica*. С. 50.
- 39 *Струве П.Б.* Граф П.А.Гейден // *Patriotica*. С. 36.
- 40 Там же. С. 37. На уникальность личности графа Гейдена указал в своем печальном отклике на его смерть даже такой его политический «оппонент слева», как П.Н.Милюков: «Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой помыслов... Этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника оказался драгоценным, редким продуктом высшей культуры, случайно свалившемся в самый сумбур русской жизни с какой-то чужой планеты... Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины, – это счастье, которое достается немногим...». Как видим, если Милюков считает феномен Гейдена – «драгоценной случайностью», то Струве склоняется к оценке графа как «образцового гражданина», но при этом лидера определенного – *либерально-консервативного* – направления в русской культуре. Подробнее об откликах на смерть гр. Гейдена, в том числе о позорной – иначе не назовешь – статье В.И.Ульянова-Ленина «Памяти Гейдена», см.: *Шевырин В.М.* Рыцарь российского либерализма. Граф Петр Александрович Гейден. М., 2007.
- 41 *Струве П.Б.* Культура и дисциплина // *Patriotica*. С. 88.
- 42 Там же. С. 88–89.
- 43 *Струве П.Б.* Размышления на политические темы. XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? // *Patriotica*. С. 137–138.
- 44 Там же. С. 137.
- 45 Там же. С. 138.
- 46 В качестве «негодного», «ложного» лидера часто упоминался Струве в 1906–1907 гг. и Алексей Федорович Аладьин – лидер радикалов из «трудовой группы» в Первой Думе, популярный думский оратор демагогического склада. Представляется, однако, что имя «Аладьин» было для Струве неким собирательным образом для характеристики целой группы перводумцев-радикалов, куда, помимо Аладьина, входили также депутаты Жилкин, Аникин и др.

- 47 Опубликованные документы, исходящие в том числе от высокопоставленных сотрудников императорских спецслужб, убедительно свидетельствуют о том, что контроль этих спецслужб над Гапоном был утерян уже ко второй половине 1904 г., и события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. явились для них полной неожиданностью. (См., напр.: *Герасимов А.В.* На лезвии с террористами // «Охранка». Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004. Т. 2. С. 161–163.)
- 48 *Струве П.Б.* Размышления на политические темы // *Patriotica*. С. 138.
- 49 См.: *Пайнс Р.* Струве: левый либерал. С. 521–522.
- 50 Там же. С. 522.
- 51 Освобождение. № 65. 27 янв. 1905 г.
- 52 *Струве П.Б.* Палач народа // Освобождение. № 64. 12 янв. 1905 г.
- 53 См.: *Потолов С.И.* Георгий Гапон и российские социал-демократы в 1905 г. // Социал-демократия в российской и мировой истории. М., 2009; *он же.* Георгий Гапон и либералы (новые документы) // Россия в XIX – XX вв. Сб. ст. К 70-летию со дня рождения Р.Ш.Ганелина. СПб., 1998.
- 54 *Струве П.Б.* Размышления на политические темы. XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? // *Patriotica*. С. 138. И позднее, в эмиграции, Струве не раз вновь и вновь поражался тому обстоятельству, что первым в русской истории вывести рабочие массы русской столицы на улицы – «факт, огромный и сам по себе и по своим последствиям» – удалось священнику Гапону, которого сам Струве знал, как «малоинтересное ничтожество». (См. напр.: *Струве П.Б.* По поводу выступления г. Бадьяна // *Струве П.Б.* Дневник политика (1925–1935). М.–Париж, 2004. С. 172.)
- 55 *Струве П.Б.* Дневник политика. С. 21.
- 56 См.: *Пайнс Р.* Струве: правый либерал. С. 346–347, 364.
- 57 *Струве П.Б.* Дневник политика. С. 21.
- 58 Там же.
- 59 *Струве П.Б.* Памяти Н.В.Чайковского // Дневник политика. С. 114.
- 60 *Струве П.Б.* Нетерпение или активная выдержка // Дневник политика. С. 124–125.
- 61 Там же. С. 125.
- 62 Там же. С. 125–126.
- 63 *Струве П.Б.* Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки // Дневник политика. С. 376.
- 64 Там же.
- 65 Там же. С. 376.
- 66 Там же. С. 376–377.
- 67 Там же. С. 377–378.
- 68 *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. Литературно-политические тетради / Под ред. С.П.Мельгунова. Париж, 1950. № 9–10, 12.
- 69 *Струве П.Б.* Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. 1950. № 10 (июль-авг.). С. 114.

- 70 Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным. С. 115. Это впечатление от Ленина разделяла и Вера Ивановна Засулич, которую Струве называл «самой умной и чуткой из женщин», каких ему приходилось встречать. Засулич, по словам Струве, «испытывала к Ленину антипатию, граничившую с физическим отвращением – их позднее политическое расхождение было следствием не только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого несходства натур» (там же.)
- 71 Там же. С. 115–116.
- 72 Там же. С. 116.
- 73 Там же.
- 74 Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. 1950. № 9 (май–июнь). С. 121. Об эмоционально-психологической несовместимости Ленина и Струве, даже в период их активного идейно-политического сотрудничества говорит и такой важный свидетель, как Н.К.Крупская: «Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это не верно. Фет – махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета» (Крупская Н.К. Воспоминания. М.–Л., 1926. С. 26).
- 75 Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. 1950. № 10. С. 109.
- 76 Струве П.Б. По поводу окончания очерков Н.Н.Львова // Дневник политика. С. 173.
- 77 Там же.
- 78 См.: Струве П.Б. П.Н.Миллюков // Дневник политика. С. 434–436.
- 79 Там же. С. 436.
- 80 Там же.
- 81 Там же. С. 435–436.
- 82 Струве П.Б. Две речи. 2. Героическая воля // Patriotica. С. 164.
- 83 Там же. С. 165.
- 84 Там же.
- 85 Там же.
- 86 Там же.
- 87 Там же. С. 165–166.
- 88 Там же. С. 166. Взяв за правило писать только об ушедших людях, П.Б.Струве позднее опубликовал некрологи на П.Н.Врангеля и А.П.Кутепова. (Струве П.Б. Памяти генерала П.Н.Врангеля // Россия и славянство. 1929. № 22. С. 1; он же. А.П.Кутепов // Россия и славянство. 1931. № 113. С. 1.).
- 89 См.: Струве П.Б. Аксаковы и Аксаков // Patriotica. С. 232.
- 90 Там же.
- 91 Там же.
- 92 Там же.
- 93 Там же.
- 94 Там же.
- 95 Там же.
- 96 Там же.
- 97 Там же.

- 98 В этой связи необходимо оспорить мнение об И.С.Аксакове (в том числе об Аксакове 1880-х гг.) одного из самых авторитетных биографов П.Б.Струве – американского историка Ричарда Пайпса. В своем, ставшем классическим, двухтомнике о Струве Пайпс, в частности, дает Аксакову такую характеристику: «Это был рупор славянофильства в его завершающей фазе, после того, как оно растеряло присущий его ранней стадии этнокультурный идеализм и превратилось в политическое движение с отчетливо выраженными чертами ксенофобии. В преклонные годы поведение Аксакова все в большей степени приобретало параноидальный характер. Он наускивал своих читателей против поляков, немцев и евреев, ставя им в вину все неурядицы российской действительности, взвинчивал общественную истерию, доводя ее до воинственно-имперских устремлений. В принципе, Аксакова последнего периода его жизни можно охарактеризовать как националиста-реакционера и одного из идеологических предшественников фашизма XX в.» (*Пайпс Р.* Струве: левый либерал. С. 34). Строго говоря, Пайпс, употребляя по отношению к И.Аксакову такие слова, как «параноидальный характер», «наускивал», «взвинчивал» и т. п., оспаривает один из центральных тезисов самого П.Б.Струве о том, что все творчество Аксакова – это как раз образец трезвости и здравомыслия.
- 99 *Струве П.Б.* Б.Н.Чичерин и его место в русской образованности и общественности // Россия и славянство. 1929. № 9. С. 3.
- 100 *Струве П.Б.* Чичерин и его обращение к прошлому // *Струве П.Б.* На разные темы. СПб., 1902. С. 84–20.
- 101 *Струве П.Б.* Б.Н.Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 3. См. также: *Струве П.Б.* Б.Н.Чичерин: некролог // Освобождение. 1904. 19 февр. С. 323.
- 102 *Струве П.Б.* Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 3–4.
- 103 Там же.
- 104 *Струве П.Б.* Из Б.Н.Чичерина в «Хрестоматию евразийства» // Дневник политика. С. 417–418.
- 105 *Струве П.Б.* Б.Н.Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 4.
- 106 *Струве П.Б.* Два основных освободительных требования // Дневник политика. С. 416.
- 107 *Пайпс Р.* Струве: правый либерал. С. 334. См. также: *Борман А.* Из воспоминаний о П.Б.Струве // Новое русское слово. 8 сент. 1969 г.
- 108 *Струве П.Б.* Политические взгляды Пушкина // *Patriotica*. С. 310.
- 109 *Струве П.Б.* Именем Пушкина // *Струве П.Б.* Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981. С. 10.
- 110 *Струве П.Б.* Заветы Пушкина // Дух и слово. С. 14.
- 111 *Струве П.Б.* Растущий и живой Пушкин // Дух и слово. С. 18.
- 112 Там же. С. 18–19, 20.

- ¹¹³ *Струве П.Б.* Культура и борьба. С. 13.
- ¹¹⁴ Там же. С. 9.
- ¹¹⁵ Там же. С. 13.
- ¹¹⁶ *Струве П.Б.* Именем Пушкина. С. 10.
- ¹¹⁷ *Струве П.Б.* Интеллигенция и народное хозяйство // *Patriotica*. С. 203.
- ¹¹⁸ *Струве П.Б.* Религия и социализм // *Patriotica*. С. 331.
- ¹¹⁹ Там же. С. 333–334.

ДОКЛАДЫ

Философия и журналистика: Андрей Александрович Краевский¹

Наш сегодняшний симпозиум посвящен теме «Философия и журналистика» и приурочен к 200-летию Андрея Александровича Краевского, крупнейшего русского журналиста, редактора, выдающегося организатора журналистского дела. Краевский несколько десятилетий редактировал «Отечественные записки» – бесспорно лучший российский общественный журнал. Он был организатором и редактором первой русской ежедневной газеты «Голос», ставшей идеологом и рупором «Великих реформ» 1860-х гг., а потом жертвой контрреформ 1880-х. Краевский был организатором и руководителем первого в России телеграфного агентства.

Но Андрей Краевский был не только журналистом. Он был еще и философом: окончил философский факультет Московского университета с отличием и степенью «кандидата этико-политических наук». Через всю свою долгую жизнь (а прожил он без малого 80 лет) Краевский пронес любовь к философии, особенно к таким ее разделам, как этика и политическая философия.

Поэтому воспользовавшись этим 200-летним юбилеем, мы намерены сегодня поставить вопрос шире: поговорить о сродстве и переплетениях этих двух ремесел, профессий, призваний – философии и журналистики. Это было важно для России XIX в., это интересно и важно для нас сегодня.

¹ Доклад 10 мая 2010 г. в Институте философии РАН на симпозиуме «Философия и журналистика».

Начать свой доклад перед философско-журналистской аудиторией я бы хотел с особой темой. Мало в Москве найдется таких зданий и таких залов (как это здание на Волхонке и этот зал, в которых мы сейчас находимся), – которые были бы так тесно связаны с историей не только русской философии, но и с историей отечественной журналистики.

Начну с «матушки» Екатерины Великой. Ученица Монтеня, Локка и Вольтера, она была весьма сильна во многих литературных жанрах, была вдохновительницей и деятельной сотрудницей сатирического журнала «Всякая Всячина», вела остроумную журналистскую полемику с «Трутнем» Новикова. В 1775 г., во время своего почти годовичного пребывания в Москве на праздновании годовщины Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией (а именно с 22 января по 20 декабря 1775 г.) Екатерина Вторая жила именно в этом здании, особняке князей Голицыных, объединенном в тот год деревянными переходами на сваях с соседними усадьбами Лопухиных и Долгоруких под общим именем Пречистенского дворца. Мы даже знаем точно, где конкретно жила императрица: на втором этаже, в соседних с этим залом помещениях. Рядом – в домовый церкви князей Голицыных – Екатерина по преданию венчалась с Потемкиным. В этом доме у нее в июле 1775 г. родилась дочь, которую нарекли Елизаветой Темкиной. В активной переписке о своем пребывании в этом доме с французским философом-энциклопедистом бароном Гриммом, Екатерина писала о том, что на досуге пописывает сатирические заметки, вошедшие потом в знаменитые «Были и Небылицы», опубликованные в «Собеседнике любителей свободного слова», коим Екатерина была главным редактором.

Голицынский дом тесно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина – поэта, мыслителя, но также и журналиста, который, напомним, с 1830 г. редактировал первую «Литературную газету», а с 1836 г. был редактором и издателем раннего «Современника». Когда-то, 18-летний Пушкин был влюблен в Евдокию Ивановну Голицыну – жену владельца этого дома, на 19 лет себя старше. В 1817 г. Пушкин пишет в известном стихотворении «Краев чужих неопытный любитель»: «Отечество почти я ненавидел, // Но я вчера Голицыну увидел // И примирен с отечеством моим...».

Княгиня Голицына – «русская мадам де Сталь», как ее называли, писала публицистику и философские трактаты, у которых еще, возможно, будут исследователи. Однажды, будучи в Германии, Евдокия Голицына бросила вызов самому Шеллингу, предложила ему философский диспут. Трактаты Голицыной опубликованы на французском языке, Пушкин их читал, делал пометки. Были и те (например, князь Петр Андреевич Вяземский), которые иронизировали над философскими упражнениями «Princesse Nocturne» («Ночной княгини», как прозвали Голицыну в Петербурге и Москве за тягу к ночным балам), но общая закономерность подтверждается: эти стены, стены особняка Голицыных, явно подвигают к философствованию...

Князь Сергей Михайлович Голицын дружил с Пушкиным и покровительствовал ему: бывая в Москве, Пушкин непременно посещал здесь приемы и балы, танцевал в этом самом зале. В феврале 1831 г. Пушкин (напомню: уже соиздатель в то время «Литературной газеты») собирался венчаться в этом доме с Натальей Гончаровой, в домовая церкви Рождества Богородицы, но митрополит Московский Филарет, имевший абсолютное влияние на хозяина дома, запретил венчание неблагонадежного Пушкина, скандального автора «Гаврииады», в доме личного друга императора. И венчание состоялось, как известно, в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот.

Кстати, об этом императоре – Николае Павловиче Романове. Он объявил себя, как известно, «личным цензором» Пушкина, через него проходили и все журналистские начинания Пушкина: получается, что и он имеет отношение к журналистике. Так вот: Николай Первый побывал в доме Голицыных осенью 1846 г. Московский почт-директор А.Я.Булгаков, издавший свои подробнейшие «московские дневники» аж в 17-и томах, вспоминает, что царь хотел ограничиться одним приемом у Голицына с балом человек на 200. Но Голицын убедил императора, что жаждущих его увидеть – во много раз больше, и в итоге здесь были даны два огромных бала с участием императора и, добавлю, наследника-цесаревича 28-летнего Александра Николаевича.

Многократное посещение этого дома Александром Ивановичем Герценом уж точно напрямую связано с историей отечественной журналистики. Феномен герценовской публицистики, его эмигрантская

эпопея с изданием за границей бесцензурных «Колокола» и «Полярной звезды» вряд ли состоялись бы, если бы в 1834–1835 гг. он не стал жертвой следствия и суда по в целом надуманному делу о т. наз. «заговоре молодежи». А главные события происходили в этом доме, в соседних с этим залом комнатах. Именно там, в кабинете Сергея Голицына, заседала назначенная царем Следственная комиссия под председательством князя. Если внимательно читать «Былое и Думы», там описаны минимум пять посещений Герценом этого места в 1834–1835 гг. Приговор известен: ссылка в Пермь, затем в Вятку и т. д. И возвращение в Москву лишь в 1840 г. Кто знает, как бы сложилась при иных обстоятельствах судьба Герцена – недавнего выпускника физико-математического факультета, написавшего диссертацию по астрономии Коперника? Меня лично не убеждает широко афишированный некогда факт, что революционное будущее Герцена и Огарева было якобы предreshено их «аннибаловой клятвой» на Воробьевых горах, когда Герцену, напомним, было 13 лет, а Огареву 12 лет.

В 1881–1886 гг. в нашем доме (прямо под этим залом, теперь в тех помещениях учатся наши студенты и аспиранты) снимал квартиру лидер русского западничества, философ, правовед, публицист Борис Николаевич Чичерин. В этом доме написаны десятки публицистических статей и такие фундаментальные труды, как «Собственность и государство» и несколько томов «Истории политических учений».

Наконец, в квартире жившего в этом же доме, в правом флигеле, лидера славянофильства Ивана Сергеевича Аксакова была редакция еженедельной газеты «Русь» – главного печатного органа либерального славянофильства и европейского панславянского движения. Иван Аксаков умер здесь 27 января 1886 г. за своим рабочим столом, редактируя очередной номер еженедельника «Русь». На третий день 100-тысячная толпа молодежи, пронесла отсюда тело мыслителя и журналиста Аксакова к университетской церкви св. Татианы на Большой Никитской, далее по Моховой, Лубянке, Мясницкой до Каланчевской площади, где с Ярославского вокзала тело повезли в Троице-Сергиеву Лавру.

Я мог бы еще множить философские и журналистские истории из жизни этого дома, но хочу вернуться к юбилею Андрея Александровича Краевского. Краевский родился совсем недалеко отсюда, тоже в Пречистенской части. Это дом по адресу: Пречистенка, 17

хорошо известен: иногда его называют «домом Дениса Давыдова», кто-то помнит его, как здание Ленинского райкома партии... А в 1810 г., когда родился Краевский, владельцем дома был Николай Петрович Архаров, крупный вельможа, при Екатерине – московский обер-полицмейстер. Кстати, напротив, в доме по Пречистенке, 16 (теперь это Дом ученых) жил брат Николая Архарова – Иван Петрович, тоже достигший высших должностей в русской полиции. Вот эти два дома и стали родными для юного Андрея Краевского.

Однако часто встречаемое утверждение, что Краевский, мол, получил блестящее образование, благодаря протекции деда, – ошибочно. Николай Архаров умер в 1814 г. (когда мальчику было 4 года), а его брат Иван скончался годом позже. Мать Краевского, незаконнорожденная дочь Архарова-старшего была женщиной совсем небогатой. Андрея Краевского отдали в Московский университет, на философский факультет в возрасте 15-ти лет, подделав метрики (видимо, с помощью бывших сослуживцев уже покойных Архаровых). В 1828 г., в 18 лет Краевский уже окончил полный 4-х годичный курс – первым на своем отделении философии и получил степень «кандидата этико-политических наук». Впоследствии он очень жалел о том, что материальная нужда не дала ему возможности остаться при университете для подготовки к профессорскому званию и продолжить научную карьеру.

Переехав в Петербург, Краевский определился на мизерную должность в министерство народного просвещения. По службе сотрудничал в министерском журнале, помещая там статьи по вопросам философии, истории, обзоры русской периодики. Уже тогда, выражаясь современным языком, Краевский выступил против «общества массового» и за «общество гражданское». Для этого, по мнению Краевского, общество должно получать не информационные низкопробные суррогаты, а образцы высокой культуры, а сам журнал должен не скормливать читателям дозированную информацию, а стать площадкой для обсуждения самых важных общественных проблем.

Его тогдашний начальник, министр Сергей Уваров думал одно время, что Краевский – его союзник. Министр на словах тоже был за высокую духовность и идейную самобытность. Но, в отличие от уваровской триады, Краевский выступает не за мифологизированную, искусственную «народность», а за просве-

шение и культуру. «Надобно знать, что Россия сама о себе думает» – вот любимый тезис Краевского. Если для Уварова русская самобытность – идеологически насаждаемый миф о России, то Краевский понимает русскую самобытность буквально – как возможность для России «самой быть».

В этом суть оригинальной историософии Краевского, которую я бы определил как «либеральное почвенничество». К этой традиции принадлежал Пушкин – «певец Империи и свободы»; в этом русле писал и рассуждал Лермонтов, да и молодой Достоевский начинал, по воспоминаниям близко знавшего его Страхова, именно как «почвенный либерал». Сюда же можно отнести идеи Ивана Аксакова и воспитанных на его публицистике Петра Струве и Бориса Зайцева. В XX в. выдающимся представителем либерально-почвеннического направления был писатель и журналист Михаил Осоргин – напомним, первый Председатель Союза журналистов России, высланный при большевиках из страны.

Молодой Краевский мечтал о своем журнале. П.В. Анненков очень точно написал об этом стремлении: «Краевский... усиленно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи – надо сказать правду – не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям; противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью действительно замечательными».

Оставляя в стороне многие эпизоды, хочу остановиться на теснейшем сотрудничестве молодого Краевского с А.С. Пушкиным. В конце 1835 г. князь Одоевский знакомит Краевского с Пушкиным; с начала 1836 г. Краевский уже активно помогает Пушкину в издании «Современника». Официальный его пост – заведующий корректурой и техническим оформлением, слежение за выполнением типографских работ, прохождение цензуры. Но роль Краевского в «Современнике» была намного шире: Пушкин часто передоверял ему редакторские дела. Плетнев вспоминал: «Бывало, Александр Сергеевич уедет из Петербурга, срок выпуска книги подходит, и поэт шлет поручения составить ее. Краевский отправляется к Пушкину в кабинет и выбирает из поступивших к нему рукописей, что получше и поинтереснее, при этом пишет и к само-

му поэту и требует от него собственных его вкладов в журнал». Известно, например, что вторая книжка «Современника» составлялась и набиралась в отсутствие Пушкина Плетневым, Одоевским и Краевским из материалов, найденных ими в кабинете Пушкина. Ознакомившись с книжкой, Пушкин выразил неудовольствие Краевскому за помещение одного из стихотворений Кольцова.

В самом начале 1837 г. Краевский становится, наконец, «главредом» – еженедельной газеты «Литературные приложения к Русскому инвалиду». Пушкин (которому будет суждено погибнуть менее чем через месяц) подарил Краевскому и его газете знаменитое стихотворение «Аквилон», и оно открыло беллетристический отдел газеты Краевского. «Аквилон» – самое загадочное философское стихотворение Пушкина. Начатое в Михайловском, потом переделанное в Болдине, – это, по мнению многих литературоведов, философское кредо Пушкина. Северный ветер Аквилон ломает и вырывает с корнем могучие дубы, но перед мылящим тростником философии Аквилон бессилён...

То, что Пушкин, никогда ранее не публиковавший этого стихотворения, отдал его «на зубок» именно Краевскому – философу по образованию – весьма символично. Краевский очень любил подобные символы. Известно, что после гибели Пушкина, он настойчиво просил ближайших друзей поэта отдать ему трость Пушкина с впаянной в нее пуговицей Петра Первого, которую царь-Петр подарил предку Пушкина – Ибрагиму Ганнибалу. Краевский писал в те траурные дни князю Одоевскому: «Мне хочется иметь на память от Пушкина камышовую желтую его палку, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого... Если опекуны не уважат моего чувства привязанности к покойному, то пусть дадут мне палку за тот долг, который Пушкин всегда считал на себе относительно меня за “Современник”: за весь год, как вам известно, я не получил от него ни копейки». Подробности дальнейших переговоров по этому вопросу мне неизвестны. Но всем известно, что трость Пушкина сегодня находится в его музее-квартире на Мойке, 12.

Похоже, в данном случае амбициозного Краевского не уважили, зато уважили в главном. После смерти Пушкина было решено продолжить издание «Современника» в пользу детей поэта. В число редакторов Жуковский, Вяземский, Плетнев и Одоевский кооптировали Краевского, которому прямо поручили готовить

следующую книжку «Современника». Выяснилось, что никто из душеприказчиков Пушкина журнал поднять не сможет, тем более увеличить число подписчиков – это доказало, кстати, последующее редакторство Плетнева.

А в № 5 «Прибавлений к Русскому инвалиду» Краевского появился в 1837 г. знаменитый некролог о Пушкине (единственный на всю огромную Империю), составленный Краевским и Одоевским: «Солнце русской поэзии закатилось...». Издатель Краевский получил за это строгий выговор, и с тех пор министр Уваров внимательно следил за изданиями Краевского.

Итак, Краевский продолжает мечтать о толстом энциклопедическом журнале. В 1836 г. он и Одоевский разработали проект журнала «Русский сборник» (первоначальное название «Северный зритель») – 4 книжки в год с ежемесячным приложением «Литературный летописец». Но царь Николай на прошение об открытии нового журнала наложил знаменитую резолюцию: «И без того много...». Краевский был тяжело разочарован.

Дело было не столько в амбициях, сколько в переживании опасного состояния русской литературы и журналистики, в необходимости дать отпор популярным изданиям литературных «братьев-разбойников» Булгарина и Греча и откусившего у них часть рынка Сенковского, сделавшего в своей «Библиотеке для чтения» ставку на откровенный «маскульт» и вышучивавшего в едких фельетонах (обожаемых, надо сказать, публикой) высокую русскую культуру. В начале 1838 г. Краевский писал Владимиру Далю: «Оттого-то и плоха надежда на поправление хода нашей литературы, что честная литературная партия только охает, сложа руки, а мошенническая работает неутомимо и, разумеется, завоевывает внимание читателей, растлевает вкусы и прививает гангрену к литературе».

И, наконец, у Краевского получилось. Поскольку новые журналы издавать было нельзя, он в конце 1838 г. выкупает у П.П.Свиньина право на издание старого полудохлого журнала «Отечественные записки». Вложив все личные деньги, Краевский привлек в новый журнал лучшие литературные силы, в первую очередь, «околопушкинской плеяды». Как собирали деньги на первые номера, хорошо видно из письма Одоевского Жуковскому: «Помогите и помогите от души, потому что дело задушевное... Если не будет помощи от вас, то принуждены будем издание прекратить, и

торговая братия захлопает в ладоши, а честным людям будет жаль, ибо наш подрыв докажет, что в России ни один честный журнал существовать не может».

Что же такое были «Отечественные записки»? – Огромная книжка (в 2–3 раза больше чем у Сенковского), выходящая ежемесячно с беспрецедентным составом участников: в качестве «сотрудников» были объявлены 127 человек – весь цвет русской культуры. Краевский детально продумал структуру. Первый раздел – «Современная хроника России». От репортажей поездок по стране царя и наследника-цесаревича Александра (будущего Александра II, на которого Краевский, с подачи Жуковского, очень рано сделал долгосрочную ставку) – и кончая обзорами достижений русской промышленности.

Второй раздел – «Науки», и первая часть этого раздела (внимание!) в каждой книге – «Философия», изложение главных философских идей и методов познания, позволяющих культурному читателю разобраться в нарастающем потоке информации.

Для написания раздела «философия» в первых номерах «Отечественных записок» Краевский привлек своего друга, блестящего знатока немецкой философии и переводчика с немецкого Эдуарда Губера – фигуру, ныне почти забытую. Э.Губер был родом из семьи поволжских немцев, сыном лютеранского пастора, обладавшего одной из лучших философских и богословских библиотек в России. Эдуард Губер обладал несомненным литературным талантом: достаточно сказать, что он был первым переводчиком на русский язык «Фауста» Гете. Не пройдя цензуру, Губер сжег первый вариант «Фауста»; узнав об этом к Губеру приехал Пушкин и заставил восстановить перевод, который был все-таки опубликован.

К несчастью, Эдуард Губер прожил очень недолго. Уже в начале 1840-х годов Краевскому приходится искать замену автору раздела «философия». В конце концов, он останавливается на Александре Герцене, который пишет для «Отечественных записок» серию знаменитых философских «Писем о природе». После эмиграции Герцена за этими номерами журнала охотилась полиция с целью изъятия и последующего сожжения.

Нельзя не сказать о буквальном «открытии» Краевским для русского общества имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Уже в первом номере «Отечественных записок» публикуется лермон-

товская «Дума» («Печально я гляжу на наше поколение»...) – стихотворение предельно диссидентское. Поразительно, что цензура, по-видимому, зачитавшись репортажами о путешествиях императорской семьи в первом разделе, пропустила всё, за исключением двух строчек. После строк: «К добру и злу постыдно равнодушны, // В начале поприща мы вянем без борьбы», – вместо двух следующих строчек – только точки. Но мне как-то выдали в Исторической библиотеке первый номер «Отечественных записок», где вместо точек аккуратным почерком (похоже, женским) было вписано:

Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью – презренные рабы...

В чем же главная заслуга «Отечественных записок» и их главного мотора Краевского? Главное на мой взгляд, в том, что Краевский взял высокую идейно-эстетическую программу (условно говоря, «пушкинского направления») и в то же время сделал массовый и коммерчески-выгодный журнал. Он показал, что высокая идея может оказаться выгодной. В итоге, он несомненно послужил делу коммерциализации журналов, с которой боролся Пушкин и др. Но вместе с тем молодой Краевский выступил как представитель именно этой, «пушкинской литературной группы», сражался с литераторами «торгового направления» – Булгариным, Гречем и Сенковским. Ориентация на коммерческий успех в согласии с высокой идеологической и эстетической позицией – вот его принцип. Его наставниками были В.Ф.Одоевский, П.А.Вяземский, П.А.Плетнев, В.А.Жуковский. Краевский не поступился высокой программой, которую он заимствовал у писателей пушкинской группы и донес ее до широкого круга столичных и провинциальных читателей.

Разумеется, у Краевского была масса врагов. Фаддей Булгарин в одной из статей, прямо предназначенных для III-го Отделения, аттестовал либерала (причем умеренного либерала) Краевского ни много – ни мало, как «главу коммунистов и развратителя цензуры» (1846). «От существования России, – писал Булгарин, – не было примера, чтобы человек столь ясно и столь дерзко действовал к подрыву веры, престола, любви к отечеству и всех преданий, внушающих любовь к родине...».

В советский период фигуру Краевского начали обстреливать с противоположного фланга. В 1951 г. в СССР отмечали 100-летие смерти Белинского, и сам товарищ Сталин (тоже, кстати, в 1929 г. побывавший и выступавший в нашем доме), назвал Белинского в числе «выдающихся деятелей», «пролетариев умственного труда». Но если есть пролетарий, – должен быть и его антипод, хозяин-эксплуататор. И вот в юбилейном филологическом издании была дана развернутая характеристика хозяина «Отечественных записок» Краевского – как безжалостного угнетателя «пролетария умственного труда» Белинского.

Что тут скажешь? Остается предоставить слово самому Виссариону Белинскому. «Брось он журнал, – говорил Белинский о Краевском, – и у него будет прекрасное место, деньги, чины... Но его бог наказал страстью к журналистике... Это человек, который из всех русских литераторов, один способен крепко работать и поставить в срок огромную книжку, способен один талантливо отваять Греча, Булгарина или Полевого... Наконец, это честный и благородный человек, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее».

Да, Белинский, особенно будучи в приступе болезни, не раз возмущался жесткой требовательностью Краевского. «Краевский стоит с палкою и погоняет...», – писал, например, Белинский. Но сам же Белинский, чуть отойдя от болезни, признавал: «И то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки...».

Подведем итоги деятельности нескольких крупнейших журналов времен Краевского.

Сенковский с его некогда популярнейшей «Библиотекой для чтения», принесшей ему баснословные богатства, по-настоящему процветал несколько лет, а потом был прочно забыт.

Греч и Булгарин, сумевшие на четыре тысячи подписчиков «Северной пчелы» приобрести: один – дом в Петербурге, другой – целую мызу в Дерпте, под конец жизни разорились.

Старчевский, покупавший на деньги от «Сына Отечества» дома Румянцева и Монферрана с античными статуями и кроватью Марии Антуанетты, доведен был своими спекуляциями до крайнего положения.

Андрей Александрович Краевский перед кончиной завещал московскому и петербургскому университетам по 10.000 рублей на стипендии студентам; по 10.000 рублей – трем обществам: Лите-

ратурному фонду; Обществу пособия ученикам городских начальных школ (основано Краевским); Обществу сценических деятелей (основано Краевским). 6.000 рублей – Обществу поощрения художеств. Вся огромная библиотека Краевского была передана в дар городским училищам Санкт-Петербурга.

В идеально организованном личном архиве Краевского после его смерти были найдены тысячи и тысячи долговых расписок от тех, кому он давал в долг некие суммы: от весьма незначительных – до очень и очень крупных. Согласно завещанию Краевского, все долги себе он аннулировал.

Последние годы Краевский вел активнейшую работу в городском самоуправлении Петербурга, возглавляя там училищную комиссию. Этот период жизни Краевского, связанный с широчайшим общественным подвижничеством и благотворительностью, заставляет вспомнить об образцах из античных утопий, где бескорыстие и щедрость дополняют общественное величие.

Кстати, об античности. Наше сегодняшнее мероприятие мы назвали симпозиумом: от греческого «*симпосий*» – пир. Недавно в нашем Институте философии РАН вышел фундаментальный, мирового класса труд – «Энциклопедический словарь по античной философии». Некоторые авторы данного замечательного проекта консультировали меня в ходе подготовки этого доклада. Они-то и просветили меня относительно одного поразительного обстоятельства, которое имеет место, например, в классических «Диалогах» Платона – например, в «Пире», «Пармениде» или «Теэтете». В каждом из этих диалогов, являющихся вариациями на тему классического древнегреческого *симпосия*, наряду с дискутирующими философами неизменно присутствует по крайней мере еще одна характернейшая фигура – которую мы с полным правом можем назвать фигурой «репортера» или «античного журналиста». В «Пире» – это участник симпосия по имени Главкон; в «Пармениде» – это Кефал; в «Теэтете» – это Терпсион. Мои друзья отметили, что у Платона все эти журналисты – строго индивидуальны, непохожи друг на друга, и правильнее было бы их назвать платоновским «Союзом журналистов».

Получается, что уже не столетия, а тысячелетия сосуществуют и взаимодействуют эти два ремесла, две профессии, два призвания – философия и журналистика. Их общей судьбе, прежде всего в контексте отечественной, российской истории и культуры и посвящен наш сегодняшний симпозиум.

**Пути русской свободы:
Иван Сергеевич Аксаков
и Михаил Матвеевич Стасюлевич¹**

Наш симпозиум из цикла «Философия и журналистика» посвящен сегодня двум выдающимся русским мыслителям, общественным деятелям и журналистам – Ивану Сергеевичу Аксакову (1823–1886) и Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911).

Совсем недавно исполнилось 125 лет с того дня, когда в этом доме на Волхонке, принадлежавшем тогда князю Голицыну, в правом флигеле, скончался в своем рабочем кабинете Иван Сергеевич Аксаков, лидер русского славянофильства, и в то время редактор и издатель ведущей славянофильской газеты «Русь». А 100 лет назад, зимой 1911 г., в Санкт-Петербурге скончался на 85-м году жизни Михаил Матвеевич Стасюлевич, интеллектуальный лидер русского западничества, в течение сорока лет редактировавший главный русско-европейский толстый журнал – «Вестник Европы».

При всей непохожести жизненных судеб и умонастроений, Аксаков и Стасюлевич представляли два разных направления русского свободомыслия; они были едины в главном – борьбе за русскую свободу. Наш сегодняшний симпозиум и посвящен осмыслению принципиального единства двух течений в русском либерализме – либерально-славянофильского и либерально-западнического.

Аксаков и Стасюлевич – почти ровесники: первый родился в 1823 г.; второй – в 1826 г. судьба, как это часто бывает, сделала неожиданный кульбит: крепыш в юности Аксаков со временем, в

¹ Доклад 17 февраля 2012 г. в Институте философии РАН на симпозиуме из цикла «Философия и журналистика».

результате тяжелых трудов, все чаще болел и умер в 63 года. Стасюлевич, до срока родившийся в дорожной карете, был сочтен абсолютно нежизнеспособным, много болел в детстве и юности, но потом – путем тяжелейшего труда – укрепил здоровье и прожил 84 года, став заметнейшей, если не сказать, культовой для русского европеизма фигурой начала нового, двадцатого века. Его почти ровесник Аксаков, проживший на 20 лет меньше, остался в веке девятнадцатом.

Окончив элитное Санкт-петербургское Училище правоведения, готовившее кадры высших администраторов Империи, Иван Аксаков выбрал поначалу чиновничье поприще, полагая, что пользу Отечеству можно принести главным образом «сверху», когда целеустремленный и при этом бескорыстный чиновник обладает властными полномочиями. Инспектируя от имени правительства российские губернии, он долгое время не без гордости писал родным, что он, «чиновник по особым поручениям», хотя и небольшого пока ранга, пользуется влиянием на местах, где его и уважают и побаиваются.

Молодой Аксаков – это полнейшая антитеза гоголевскому Хлестакову, хотя описываемый им в письмах губернский и уездный мир – вполне гоголевский. Работая с 1848 г. чиновником Министерства внутренних дел, он инспектирует Бессарабию и Ярославскую губернию. Самым трудным для себя объектом он считает религиозное сектантство на местах: уже тогда он отмечает, что духовная и нравственная стороны жизни – это сфера, гораздо более трудная и деликатная, чем наведение порядка, например, в государственных расходах, где бывает достаточно строгой ревизии и доклада начальству с последующим наказанием виновных. Как специалист по делам религиозного сектантства, Аксаков привлекает внимание самого министра внутренних дел графа Перовского, становится его личным конфидентом, получает все более сложные задания. Ревизуя Ярославщину и участвуя затем в судебном следствии по делу о местных сектантах, Аксаков убеждается в том, что большая часть уездов только формально числится православными, фактически принадлежат к расколу. На путях возвращения заблудших в лоно православия, молодой чиновник Аксаков, используя широкий арсенал средств (от убеждения до принуждения) добивается определенных успехов. Он жестко обличает в донесениях

и письмах тех, кто двоедушничает: внешне имитируя правоверного христианина, в глубине сохраняет приверженность расколу. «Здесь раскол – подл в высшей степени, – пишет он, например, родным из Романова-Борисоглебска в июне 1849 г. Ни один не признается, что он раскольник, все притворяются до такой степени, что иной может и ошибиться и почесть их самыми усердными православными... Но, – продолжает он, – притворство есть уже уступка, и мой план – заставить их запутаться в своем собственном двоедушии до такой степени, что раскол для детей их сделается решительно невозможным».

Но уже спустя год, вера Аксакова в благотельность административных мер в делах вероисповедания серьезно колеблется. В июле 1849 г. он пишет родным из Рыбинска все той же Ярославской губернии: «Я решительно сбит с панталыку. Все последнее время... постоянно разбивались мои с таким трудом усвоенные верования, и теперь не осталось для меня ни одной человеческой истины, о которой нельзя было бы сказать и *pro* и *contra*; я потерял всякую веру и в ум человеческий..., и в логику, и в жизнь. Есть нравственная истина, но я не умею согласить ее с жизнью, а отречься от жизни недостает сил. Оттого-то такая тоска... Вдобавок стихи не пишутся...».

Ведь молодой Аксаков – еще и талантливый поэт: но если раньше суровая проза жизни периодически располагала к поэзии в качестве лирической отдушины, то теперь нравственные колебания по самым фундаментальным вопросам не располагают к лирике. В 1849 г. он еще пытается уговорить сам себя. В письме родным он с остатками былой убежденности рассказывает о том, как некий помещик высек своих крепостных, принадлежащих к секте и силой окрестил, и теперь они сами якобы благодарят помещика. «Я против этих мер, – пишет Аксаков, – однако же и я убедился опытом..., что строгость, с одной стороны, без грубого насилия, и страх с другой – во многих местах очень полезны». И в своих донесениях министру Перовскому того времени Аксаков предлагает набор вполне полицейских мер, впрочем, достаточно мягких.

Но «идеального чиновника» Аксакова постепенно начинает все более мучить принципиальный вопрос: а что если пороки в человеке возникают не в результате отхода от официального канона, а, напротив, – в результате административного, иногда жест-

ко-репрессивного навязывания этого канона? Иначе говоря, перед 36-летним Аксаковым возникает вопрос, который еще в античности, а потом и на рубеже Нового времени в Европе, поляризовал интеллектуальную мысль на два противоположных лагеря: на сторонников Платона и сторонников Аристотеля; на адептов Томаса Гоббса и Джона Локка. Рецидивы животности в человеке: являются ли они проявлением животной сути человека, и, стало быть, требуют властной «нормализации»? Или эта животность сама и порождается репрессивным давлением на человека, который сам вполне благостен по природе? Что эффективнее и нравственнее: обеспечить человеку автономию, например, свободу совести или же – жестко контролировать эту сферу во имя искомой общественной нравственности?

На рубеже 1849–1850 гг. Аксаков все чаще переходит от формальных допросов раскольников – к обстоятельным, долгим (иногда на всю ночь) и, насколько это было возможно, задушевным разговорам с простыми сектантами; и он все более сомневается в своей административно-чиновничьей правоте. Момент радикального интеллектуального переворота можно зафиксировать на основании писем педантичного Аксакова родным.

В конце октября 1850 г. он пишет такое письмо: «На днях снимал допрос, длившийся по крайней мере часов 8»: «Не думайте..., что этот допрос был инквизиционный; нет, я записывал только добровольное показание одного раскольника..., бродившего лет 15 сряду и знакомого со всем бытом и историей этой невидимой для нас жизни. Я убедился, что пропаганда раскола становится все сильнее и сильнее, и убежден, что ей суждено еще долго распространяться. Право, Россия скоро разделится на две половины: православие будет на стороне Казны, Правительства, неверующего дворянства и отвращающегося от веры духовенства, а все прочие обратятся в расколы. Берущие взятку будут православные, дающие взятку – раскольники». И далее самое принципиальное: о том, что огосударствление православия – безнравственно, что подлинная вера уходит в секты и происходит это из-за правительственных репрессий; в православии остаются же люди не столько верующие, сколько конформистски настроенные... Аксаков пишет родным: «В здешней губернии (а это все также Ярославская губерния, которую Аксаков несколько раз за три года объездил вдоль и

поперек. – А.К.) православный значит гуляка, пьяница, табачник и невежда. Если бы вы знали, как иногда делается страшно. Кора все больше и больше сдирается, и язва является Вашим глазам во всем отвратительном могуществе. Причины язвы – в крови. Все соки испорчены и едва ли есть исцеление... Когда кончится наша комиссия – Бог весть. Много важных открытий сделано ею, много пользы в этом отношении принесла она мне».

Бывший «идеальный чиновник» Аксаков окончательно убеждается в невозможности насилия в делах веры и в том, что преследование раскола не только не достигает результата, но и разлагает саму православную церковь. Со временем Аксаков становится первым и главным в России защитником совести, предшественником и учителем таких интеллектуалов, как Владимир Соловьев, таких мыслящих политиков, как Петр Струве, Михаил Стахович, Василий Караулов.

Со временем он окончательно приходит к такой мысли: «Всякое внешнее полицейское преследование не только чуждо духу церкви по своему принципу, но и положительно вредно, потому что обличает в преследующих робость и безверие, которые дают смелость злу и заражают безверием преследуемых». Защищая христианскую правду, Аксаков был принципиальным противником государства подобной церковной иерархии, воспроизводящей мирскую властную вертикаль, и тем самым профанирующей саму идею церкви Христовой: «Нигде так не боятся правды, как в области нашего церковного управления, – пишет Аксаков. – Нигде младшие так не трусят старших, как в духовной иерархии, нигде так не в ходу “ложь во спасение”, как там, где ложь должна бы быть в омерзение. Нигде, под предлогом змеиной мудрости, не допускается столько сделок и компромиссов, унижающих достоинство церкви, ослабляющих уважение к ее авторитету». Происходит это, по мнению Аксакова, «от недостатка веры в силу истины» и «от смешения понятий: церковного с государственным, Кесарева с Божьим». В противовес затвердевшей церковной иерархии, Аксаков активно выступил за приоритет самоуправляющегося прихода и приходской жизни.

В конце жизни Аксаков окончательно формулирует такой тезис: если христианство есть истина, а христианин не может верить иначе – то «отношение к истине может быть только свобод-

ным»; истина не может быть утверждена насильственно. «Свобода истины уже сама по себе предполагает свободу убеждения. А свобода убеждения предполагает в свою очередь и свободу заблуждения – с его выражением в слове, следовательно, свободу слова».

Итак, свобода слова у Аксакова имеет фундаментальные основания, глубочайшую религиозную санкцию. «Мысль, слово! Это та неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное. Безмысленны и бессловесны только скоты, – и только разум, иначе слово – уподобляет человека Богу. Мы, христиане, называем самого Бога – Словом. Посвягать на жизнь разума и слова в человеке – значит, не только совершать святотатство Божьих даров, но посвягать на божественную сторону человека, на самый Дух Божий, пребывающий в человеке, на то, чем человек – человек!.. Умерщвление жизни мысли и слова – самое страшнейшее из всех душегубств!». Разумеется, эти аксаковские формулы существенно отличается от «западнического», юридического в своей основе понимания прав человека, но противопоставлять их (как это иногда делается), ошибочно, глупо и недальновидно.

А тогда, в начале 1850-х гг., непосредственный начальник Аксакова – министр Лев Перовский – предложил ему сделать окончательный выбор между карьерой чиновника и ремеслом литератора, поэта, журналиста. И Аксаков, снова обретший душевное равновесие (но равновесие уже не на основе верности чиновной вертикали, а на основаниях по сути либерального понимания свободы, как свободного самоопределения личности), выбирает литературу и общественную деятельность...

Иным быть путь к либерализму Михаила Матвеевича Стасюлевича. Стажировка в крупнейших университетских центрах Европы в 1856–1858 гг. (ставшая возможной после смерти Николая I и с заключением новым царем Александром II Парижского мира после проигранной Крымской войны), привела 30-летнего магистра истории к парадоксальному выводу: вопреки заклинаниям русских самобытников о приверженности «духовности и морали» в противовес «западной бездуховности и аморализму», именно Европа с ее укрепляющимися институтами права и демократии и является оплотом подлинной морали. Ибо бесправие, в первую очередь политическое, и есть главный источник общественной безнравственности. «У нас так много человеколюбия, – писал Стасюлевич, –

отчего же никто не счастлив? Мы со своим человеколюбием, со своею широкою любовью к ближнему, забываем, что именно от этого-то человеколюбия, которое заставляет каждого отказаться от своей личности, мы и нуждаемся в человеколюбии».

Успехи Запада Стасюлевич напрямую связывал с двумя, казалось бы, простыми вещами: характером человеческого труда и характером политического представительства. Весной 1857 г. он писал из Англии своему университетскому профессору М.С.Куторге: «У Англичан... даже нет свода законов; говоря нашим языком... У них общество совершенно не благоустроено, и везде хаос. Но этот хаос такого рода, что Англичанин, как божество, творит из этого хаоса мир... В этом пример английской конституции, написанной не на бумаге, а в сердце каждого гражданина... В Англии вот что важно: здесь ценится человек и каждый отвечает за себя; отсюда и проистекает в Англии и порядок, и образованность, и богатство...». И далее – удивительная фраза, которая станет жизненным кредо западника Стасюлевича: «Англичанин, когда работает, он знает, что на него смотрит Англия, а не Директор департамента».

Будучи в Европе, молодой Стасюлевич поразился тому, что демократизация общественной жизни не ведет к падению морали, ибо право и демократия сами становятся сакральными институтами. В мае 1857 г. он писал своему ректору П.А.Плетневу об огромном впечатлении, которое произвела на него бельгийская Палата депутатов. У величественного входа в Парламент его встретили «четыре женских статуи со скрижалями в руках», символизирующие свободу ассоциаций, свободу прессы, свободу исповеданий и свободу образования. Стасюлевич пишет: «Вот четыре основы Бельгийской конституции: это Бельгийское Православие, Самодержавие и Народность!». Но еще больше поразил его ход самой парламентской дискуссии по одному из представленных правительством законопроектов: «Сам Министр внутренних дел защищал закон... Представляя себе божеское величие наших министров, я был поражен, как обходились здесь с ним; юноши, моложе меня, прерывали его речь своими замечаниями и нередко окончательно сбивали с толку; несколько раз вся левая сторона просто хохотала над цветами красноречия министра...». Именно Европе, понял молодой русский историк, совершенствующей систему народного

представительства, удастся, в отличие от самодержавной России, строить политику на принципах морали. А ощущение чистоплотности политики неизбежно окультуривает и общественную жизнь. И наоборот, пишет Стасюлевич: «отсутствие политической ответственности ведет за собою и отсутствие общественной».

Уже зрелый и опытный Михаил Стасюлевич сформулировал принципиальные отличия русской политики от европейской. В отличие от Европы, где народное представительство тщательным отбором формирует когорту «государственных мужей», русское самодержавие способно породить лишь «государственных актеров». «В России нельзя быть государственным человеком в общеевропейском смысле этого слова; ни Кавур, ни Биконсфилд, ни даже Гизо или Бисмарк, в России не нашли бы для себя почвы под ногами, ни неба над головой; а потому у нас ничего не остается, как быть, если можно так выразиться, государственным актером, и только казаться государственным человеком». Разумеется, «актеров» в русской политике можно ранжировать по их качествам: ведь «можно играть честно, не имея в виду своих личных выгод» (как, например, Лорис-Меликов), а можно иначе – как граф Игнатъев, «который никогда не забывал себя».

Поэтому Стасюлевич не очень верил в формальные изменения русской политики, в замену одних «государственных актеров» – другими. «У нас, действительно, привыкли ожидать всего от личных перемен, – отмечал он. – Это отчасти привычка дворовых людей, гадать: кто будет назначен бурмистром; между тем корень добра и зла заключается всегда в системе... Мы похожи на больного, который переменяет врачей, но не хочет изменить своей диеты». Отечество он уподоблял «больному», который «желает возвратить утраченное здоровье и вместе с тем сохранить за собой свободу набивать себе желудок и все это обильно поливать отечественным квасом вперемешку с шампанским». Стасюлевич иронизировал над верой «в силу домашних средств» и нашим пренебрежением к «заморским выдумкам врачей, никуда не годным для русского человека».

И все-таки, не веря в косметические перестановки министров-актеров наверху, Стасюлевич один раз соблазнился возможностью повлиять на самое высшее руководство. Я имею в виду тот короткий период, когда его пригласили в императорский

дворец преподавать всеобщую историю наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу – старшему сыну Александра II, подававшему большие надежды стать со временем просвещеннейшим правителем Европы.

Чему же учил Стасюлевич наследника? Он сам он писал об этом своей жене, с которой прожил более 50 лет. «Я просил его, – писал Стасюлевич, – усвоить себе великую истину, что стремление к свободе есть не результат праздной мысли философов, но потребность физиологического развития общества; что задача правительства состоит в том, чтобы делаться все более и более излишним, и тогда само общество найдет для себя такое правительство необходимым... Обвиняют общество, говорил я, что оно не хочет признавать действительных условий жизни и мечтает о небывалом, одним словом страдает утопией будущего; но и правительство часто не хочет признавать действительных условий и старается управлять обществом на основании отживших условий и, следовательно, страдает утопией прошедшего. Обе утопии происходят от невежества». Жизнь, однако, пошла иным путем: Стасюлевича мягко «оттерли» от цесаревича; а сам Николай Александрович, увы, безвременно скончался в 1865 г. в Ницце.

Добавлю, что выпускник словесного отделения философского факультета Санкт-Петербургского университета Михаил Стасюлевич вписал свое имя в историю русской философии. Именно ему принадлежит до сих пор остающаяся лучшей в нашей литературе книга об основных направлениях философии истории. Но главным поприщем Стасюлевича стала журналистская и издательская деятельность.

Стасюлевич был умеренным либералом-центристом. Его не любили и с ним и его «Вестником Европы» воевали не только охранительные издания Каткова, но и революционно-демократические издания, например, некрасовский «Современник». Стасюлевич как-то написал жене о трудной судьбе либерала-центриста в России: «Снизу считают нас ретроgrадами и почти что подлцами, а сверху на нас смотрят чуть ли ни как на поджигателей». Но Стасюлевич на всю жизнь остался верен своему кредо: бороться с невежеством – как власти, так и общества. Уже став знаменитым журналистом и издателем, он часто повторял, что в русской журналистике, в условиях, когда общество раздираемо поощ-

ряемыми на самом верху страхами и интригами, единственный надежный ориентир – мораль и репутация честного человека. Можно выдержать любые давления правительственной цензуры, травлю конкурентов, но если его журнал снизит свою нравственную планку, он из «Вестника Европы» превратится, как он говорил в... «Вестник Африки».

...Смерть Ивана Аксакова в начале 1886 г., стала скорбным событием для очень и очень многих, но тут же оказалась в центре идейной борьбы. И именно властвующая в тот момент в России идейная группировка в лице Константина Победоносцева, графа Дмитрия Толстого, журналистов и издателей князя Владимира Мещерского и Михаила Каткова сорганизовалась первой, для того чтобы из печального события сотворить идеологический миф, который увы, бытует и по сей день, и, не только в рядах новейших российских охранителей, но, и что парадоксально, в среде людей, формально числящих себя «либералами». Это миф о якобы антизападнике и чуть ли не о духовном окормителе русской исключительности и охранительности, славянофиле Иване Аксакове.

История создания этого мифа вполне поучительна. По свежим следам кончины и грандиозных похорон Аксакова, Победоносцев, в то время обер-прокурор Священного Синода и лидер «охранительной партии», захватившей идейную власть при Александре III, пишет обширную статью-некролог в газете своего приятеля князя Мещерского «Гражданин». Стилистика, и весь, как сейчас, принято говорить «дискурс» этой статьи весьма напоминает некоторые тексты современных отечественных охранителей. Надо просто подставить иные фамилии, события и даты...

Читаем Победоносцева (это начало февраля 1886 г.) о роли семьи Аксаковых: «Свежа была еще память о том цинизме, с коим относились юные реформаторы России к живому ее организму, к ее истории и к быту народному, в начале царствования Александра (речь идет о “Негласном комитете” младореформаторов при молодом Александре Первом. – *А.К.*)..., о рабском поклонении мнимому достоинству форм быта, выросших из чуждой нам истории; а недавние события 1825 года показали, до какого самообольщения могут дойти самые передовые умы в русских людях... под влиянием ложной веры в ложное начало искусственной и чуждой нам цивилизации».

«Слово Аксаковых», продолжает Победоносцев, «было необходимо ввиду надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и либерализма: представителем его являлся в той же Москве другой кружок – западников, кружок, из которого вышел и от коего отделился впоследствии Герцен. То было критическое время, когда прививались передовым умам России навеянные с Запада идеи, разъедавшие органическое чувство любви к родному краю, чувство патриотизма, – во имя отвлеченных либеральных начал». Разница, как видим, с сегодняшним днем лишь в том, что если Победоносцев пишет о декабристах и Герцене как о заблудших, но все-таки «передовых умах», то сегодня о западниках пишут попроще – как о «прямых агентах Запада». И все-таки в имперской России, даже во времена Победоносцева и Мещерского, сохранялись понятия о дворянской чести. Когда в 1904 г., во время японской войны, тот же князь Мещерский, в той же газете «Гражданин», обвинил ученика Аксакова – либерала Михаила Александровича Стаховича в том, что тот своим либерализмом играет на руку японскому императору, Стахович обратился в суд, который признал Мещерского виновным в клевете и приговорил его (напомню: личного друга двух последних императоров) к двум неделям военной гауптвахты!

Но вернемся в 1886-й год. Аксаков был в могиле и не мог ответить на передергивания Победоносцева. Разоблачением этих идейных инсинуаций «партии» Победоносцева, Каткова, Мещерского, Толстого занялись другие либералы, и в частности, другой наш сегодняшний герой – Михаил Матвеевич Стасюлевич. В 1880-х гг., в период контрреформ Александра III, он опубликовал на Западе (в России это было невозможно) ряд писем-статей под общим названием «Черный передел реформ императора Александра II».

Стасюлевич уже тогда считал доказанным тот факт (сейчас он окончательно подтвержден), что утром в день своей гибели, Александр II окончательно решил одобрить и подписать некий «конституционный акт», который уже на следующий день хотел обнародовать. Этим актом в России должно было быть введено народное представительство, хотя пока только с законосовещательными функциями. Стасюлевич писал об этой «конституции»: «Этим актом был бы нанесен смертельный удар той черной партии, которая у нас всегда эксплуатировала Верховную власть в свою пользу; ей всегда было нужно, чтобы она оставалась самодержавною и неограничен-

ною, так как будь она ограничена хотя законом, ее уже нельзя было бы тогда ограничить этой партией; неограниченное самодержавие в руках этой партии есть то же самое, что всемогущество Юпитера в руках жрецов; жрецы всегда объявят атеистом всякого, кто усомнится во всемогуществе божием не потому, что такое сомнение оскорбительно для божества, а потому, что в практике жизни это всемогущество божие есть не что иное как *их* собственное всемогущество, и жертва, которую вы приносите божеству, это *их* доход, а не божеству; но попробуйте не приносить жертв – они станут жаловаться совсем не на убыток, который они терпят от вас, а на ваше безбожие и вредный либерализм, посягающий на величие божие (читай: их личные выгоды)». Согласитесь: прямо, как сегодня написано!

Стасюлевич продолжает: «Никто, потому, не пролил столько слез, никто не ударял с такою силою себя в грудь, как наша черная партия, в тот, действительно, злосчастный день первого марта; но, в сущности, этот день освободил ее от величайшей опасности, какая угрожала ей не дальше, как второго марта. Доказательством тому служит то, что черная партия поспешила воспользоваться всеобщим смятением, горем, и утирая одною рукою слезы, быстро и святотатственно протянула руку к тому акту, чтобы не оставить от него и следа. Щедро рассыпая обвинения против либералов, упрекая их даже в сочувствии царевубийцам, или, по крайней мере, в преступном равнодушии, хотя смерть императора была тяжким ударом именно этим самым либералам, – эта партия, конечно про себя, потирала руки, торжествуя свое избавление от величайшей опасности, и тогда уже составила знаменитую твердую организацию своего “черного передела” – не земли, но идей: она поставила себе задачу “переделать” все, что было сделано в первые годы, так кстати для нее павшего царствования; а дело этой партии висело, действительно, на волоске: еще каких-нибудь 24 часа, и опасность для нее сделалась бы почти неотвратимою...».

Жертвой вот этой «черной логики» и стал после своей смерти Иван Аксаков. Попытка Победоносцева и его команды включить Аксакова в свои контрреформаторские ряды несостоятельна хотя бы потому, что Аксаков, в отличие от членов «партии черного передела», был, напротив, горячим сторонником реформ Александра II, скорбел о его гибели и если за что и критиковал, то за недостаточность и противоречивость либеральных реформ.

На защиту репутации Аксакова после его смерти выступили очень многие. Один из ближайших учеников Аксакова историк Орест Миллер, написавший замечательную биографию учителя («Внутренняя жизнь и ход развития И.С.Аксакова по его письмам», СПб., 1889), подробно высказался на этот счет после того, как спустя год после смерти Аксакова скончался еще один известный журналист – на этот раз уж точно охранитель и реакционер Михаил Катков.

Орест Миллер, сравнивая в своей лекции либеральных славянофилов и Каткова, нанес сильный удар по попыткам «партии черного передела» представить Каткова и Победоносцева прямыми продолжателями дела славянофилов. Миллер тогда сказал: «Хомяков, Самарин, Аксаковы утверждали, что государство почерпает свою настоящую силу в настоящем общении с землею, в узнавании от нее же самой ее нужд и стремлений, возможном только при свободе слова земли. Катков предоставлял государство его собственным средствам, той самодовлеющей власти, которая, выдаваемая за сильную, часто оказывается прямо слабою, потому что опирается только на служилых людей; они же, руководствуясь своими личными выгодами, не заботятся о знании родной земли, о внимании к ее голосу, так и не достигающему чрез их посредство до верховной власти».

Миллер еще раз перед студенческой аудиторией подчеркнул, что охранитель Катков не имеет никакого отношения к славянофильской эмансипаторской традиции, и это ясно хотя бы из того, что славянофилы, такие как Иван Аксаков, Кошелев, Самарин, князь Черкасский были не только сторонниками, но и во многом инициаторами и идеологами «Великих реформ», в то время, как Катков большую часть жизни положил на то, чтобы уничтожить память о реформах и дискредитировать их значение. Миллер сказал: «Чем далее, тем решительнее преследовал Катков великую эпоху нашего возрождения, остававшуюся в общих своих чертах всегда дорогою Аксакову. Катков даже умышленно обмолчал 25-летнюю годовщину освобождения крестьян – этого величайшего дела покойного Государя, дела, постоянно превозносившегося Аксаковым». Последствия этой лекции Миллера о Каткове были для профессора весьма печальны: он был уволен из Университета с формулировкой «за... резкое осуждение деятельности публициста, высокая оценка которого сделана совершенно в ином смысле с высоты Престола».

Конечно, вот эти интеллектуальные стычки можно отнести к проявлениям, скажем так, «межпартийной борьбы». Но вот, на мой взгляд, абсолютно беспристрастная оценка Ивана Сергеевича Аксакова, которая принадлежит человеку, являющемуся образцом научной объективности и порядочности – Василию Осиповичу Ключевскому. Вот что написал Ключевский в некрологе, посвященном Аксакову, с которым они долгое время вместе заседали в Историческом обществе: «Я много лет и с великой любовью следил за его (Аксакова. – *А.К.*) деятельностью как публициста, а она давно укрепила во мне убеждение, что так, как писал Аксаков, должен чувствовать всякий честный русский человек. При чем тут славянофильство, и зачем публициста, из глубины русской души всегда отзывавшегося на текущие вопросы и насущные нужды нашей жизни... характеризовать каким-то обветшалым и деланным, нерусским и непонятным термином? Я не раз слышал, что его называют славянофилом; но я всегда думал, что здесь речь идет больше о его родословной, чем об образе его чувств и мыслей: он родился и вырос в кружке, в котором некогда много говорили и писали о гниении Запада, об отношении новой России к древней, – вот и все его славянофильство. По родственным воспоминаниям, он иногда вскользь касался этих специальных славянофильских тем; но он шел своей дорогой. Из многочисленной толпы, с такой скорбью провожавшей его гроб 31 января, многие ли помышляют о гниении Запада, о реформе Петра, и в былые годы, когда мы толпами ходили слушать его на заседаниях Славянского благотворительного комитета, разве речами о мурмолах заставлял он обливаться кровью наши сердца?».

«Многочисленная толпа», о которой говорит очевидец Ключевский, собралась у нас здесь, на Волхонке – писали о 100 тысячах человек! Отпевание Аксакова прошло в университетской церкви св. Татианы, а потом гроб понесли на руках на Ярославский вокзал, откуда отправили в Троице-Сергиеву Лавру. Могила Аксакова – у стены Успенского собора, с внешней стороны алтарной части.

Не менее торжественно хоронили в 1911 г. Михаила Матвеевича Стасюлевича в Петербурге. Помимо журналистской и издательской деятельности, Стасюлевич был крупнейшим деятелем городского самоуправления, тридцать лет возглавлял училищную комиссию городской думы. Результаты его деятельности по созда-

нию в тогдашней столице системы начальных школ и училищ поистине грандиозна. Стасюлевича, согласно его завещанию, отпевали в домовая церкви училища им. Екатерины II на Васильевском острове, а потом похоронили в одном из самых красивых храмов Петербурга – храме Воскресения Господня у входа на Смоленское кладбище. Церковь эта была при большевиках разорена, могилы уничтожены; сейчас храм восстанавливается.

В заключение хочу сказать вот о чем. В нашем постоянном и затянувшемся отечественном споре на тему «Кто виноват?» замечено одно обстоятельство. Западники, с одной стороны и самобытники – с другой, любят обвинять друг друга в «инфантилизме» и «отсутствии ответственной зрелости». «Западники» подчас с высокомерием третируют самобытников за «доморощенность» и «местечковость», неспособность признать то, что уже давно ясно «всему прогрессивному человечеству». С другой стороны, иные самобытники, рядясь в тоги «государственников» и «патриотов», не упускают случая уколоть западников за «полудетское обезьянничанье» с Запада, «неспособность дорасти до понимания национальных интересов». Мне всегда казалось абсурдным и недостойным это препирательство. Внимательное сравнение жизненных и интеллектуальных траекторий Ивана Аксакова и Михаила Стасюлевича дает понимание того, что в поиске путей к русской свободе можно многое сделать и на путях универсализма, и на путях выявления национальной самобытности. Иначе говоря, и там и там можно быть вполне «взрослым» и стоять на уровне подлинного понимания проблем, а можно впасть в примитивизм и умственное вырождение. История России, к несчастью, полна примеров того, как высокие идеи сплошь и рядом деградируют в достаточно примитивные идеологии, становящиеся питательной средой не только для словесной демагогии, но и самой откровенной корысти. Вот почему так важно не уставать еще и еще раз предъявлять общественному вниманию примеры подлинной интеллектуальной зрелости и личного благородства. Среди таких примеров – Иван Аксаков и Михаил Стасюлевич.

Александр Иванович Герцен в особняке князей Голицыных на Волхонке¹

«Философский дом» на Волхонке, бывшая городская усадьба князей Голицыных, тесно связан с именами выдающихся русских мыслителей. Здесь жили и работали Борис Николаевич Чичерин и Иван Сергеевич Аксаков, сюда, находясь в Москве, часто заходил к своему старшему другу Аксакову Владимир Сергеевич Соловьев. Сегодня мы вспоминаем имя Александра Ивановича Герцена, который не менее пяти раз бывал (правда, не по своей воле) в нашем доме. Речь идет о 1834–1835 гг., когда здесь, в особняке князя Сергея Михайловича Голицына и под его председательством работала Следственная комиссия по т. наз. «делу о лицах, певших в Москве пасквильные песни».

В 1833 г. Александр Герцен окончил физико-математический факультет Московского университета с серебряной медалью за сочинение «Аналитическое изложение Солнечной системы Коперника». Его научный руководитель, астроном и математик Дмитрий Матвеевич Перевошиков (впоследствии ректор университета и академик), к большой досаде Герцена, не поддержал его претензии на золотую медаль на том основании, что в сочинении Александра он нашел «слишком много философии и слишком мало формул».

В течение одиннадцати месяцев после окончания университета и до своего ареста Герцен формально числился чиновником Московской дворцовой конторы: он имел IX чин «титулярного совет-

¹ Доклад 20 июня 2012 г. на Международной конференции «А.И.Герцен и исторические судьбы России».

ника» согласно «Табели о рангах», что соответствовало капитану пехоты, поручику гвардии или капитан-лейтенанту флота. Герцена полностью занимали тогда общественные науки, а также деятельность кружка, созданного им вместе с Огаревым еще в студенческие годы. Он признавался в те месяцы: «Ежели я после выхода из университета немного сделал материального, то много сделал интеллектуального. Я как-то полнее развился, более определенности, даже более поэзии». В одном из писем Огареву он писал о своих планах так: «Соберу в одно живые отдельные отличные знания, наполню пустые места и расположу в системе. История и политические науки в первом плане. Естественные науки во втором». В другом письме, отвечая Огареву по поводу сен-симонизма, Герцен пишет: «Ты прав, saint-simonisme имеет право нас занять. Мы чувствуем... что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала – и только, но надобно создать новое... время, надобно другие основания положить обществам Европы: более права, более нравственности, более просвещения... Я теперь крепко занимаюсь политическими науками». Из переписки становится примерно ясен и приоритетный круг его чтения: это Мишле, Тьерри, Вико, Гердер, Шеллинг, Монтескье, Локк, философская поэзия Гете...

И тут в жизни 22-летнего Герцена происходят события, которые круто меняют его жизнь. Впрочем, он потом напишет в «Былом и думах», что произошедшее не стало для него полной неожиданностью: «Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в своей усердии дожидаться дельного повода и сделала вздор». А случилось вот что. Некто Машковцев, по случаю окончания им университета, устроил 24 июня 1834 г. дружескую пирушку. Пришли чиновник Уткин, художник Сорокин, студенты Киндяков и Убини, кандидат отделения словесных наук Оболенский и некто Скаретка – как потом выяснилось, полицейский осведомитель. Ни Герцена, ни Огарева, ни других активных членов их кружка на пирушке не было. Герцен потом писал: «Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто не был приглашен. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и между прочим спели хором известную песню Соколовского:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к ним на царство
Константин урод.

Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец...

Не Бог вещь что, – согласимся... Тем не менее, полицейский осведомитель Скаретка то ли перепугался, то ли, напротив, воодушевился перспективами и рассказал чиновнику III-го Отделения Кашинцову, что им-де обнаружено «сборище молодых людей», поющих песни, наполненные «гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». Кашинцов доложил «по начальству» жандармскому полковнику Шубинскому, который дал знать о произошедшем московскому обер-полицмейстеру Цынскому. Ими вместе и была разработана провокация: тот же Скаретка пригласил приятелей к себе домой, якобы на новую пирушку, а когда снова грянули пьяные песни, явился Цынский с жандармами. Цынский потом докладывал московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Голицыну: «По прибытии туда секретным образом (он в партикулярном платье просто прятался в соседней комнате. – *А.К.*), я застал там трех человек в пьяном виде и сам слышал их пение песен, и тех самых, о коих я был уже предуведомлен. Заключая важность в сборище помянутых людей, удостоверивших меня своими песнями, я в то же время взял их под арест, кои оказались: 1-й – отставной поручик Ибаев, 2-й – чиновник 14-го класса Уткин, 3-й – художник Сорокин».

Вообще, обер-полицмейстер Лев Цынский – весьма колоритная личность, о которой по Москве ходили анекдоты, – разумеется, шепотом. Незаконнорожденный сын актрисы Ветрецынской, он, как говорили, «вышел в люди тем, что управлял конным заводом графа Орлова». Это не помешало ему стать «мотором» мно-

гих политических процессов: через год после окончания дела Герцена Цынский возглавит разбирательство по факту публикации в «Телескопе» первого «философического письма» Петра Чаадаева. Литератор Михаил Дмитриев, племянник известного поэта, писал о Цынском: «Для нас, современников, не может казаться невозмутительным, что следствие производил невежда, взяточник, солдат и лошадиный охотник, не только не слыхавший о науке, но не знающий даже ни одного иностранного языка, одним словом: обер-полицеймейстер Цынский! Только у нас наука и философия попадают в такие лапы! О Русь!». Что же касается Герцена, то ему запомнилась неоднократно произнесенная фраза Цынского: «Я слышу молчание», – она стала потом крылатой.

Не менее колоритен и другой персонаж, с которым пришлось столкнуться Герцену, – полковник Николай Шубинский, начальник Московского жандармского округа. Карьеру он сделал в Ярославле, разыскивая и преследуя крамолу среди студентов Демидовского лицея; за проявленное усердие был переведен на повышение в Москву.

Как бы там ни было, полиция Цынского и жандармы Шубинского начали раскручивать цепочку связей, звеном в которой оказался сначала Огарев (уже состоявший под надзором полиции), а после просмотра его писем – и Герцен. Было заведено дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни».

Стоит добавить, что Московский военный генерал-губернатор, князь Дмитрий Голицын, похоже, хотел замять это дело, дабы не бросать тень на вверенную ему Москву накануне планировавшегося приезда Государя-Императора. 12 июля, т. е. еще до ареста Герцена, генерал-губернатор Голицын писал в Петербург начальнику III Отделения и шефу жандармов графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу: «Хотя поступки... по-видимому и заслуживают особенное порицание, но в прочем источник их кажется есть не иное, что как нетрезвое людей сих поведение, а не какое-либо преступное намерение». Эту линию Дмитрий Голицын будет вести и дальше. 8 сентября, т. е. уже, когда царь со свитой приехали в Москву, московский генерал-губернатор снова пишет Бенкендорфу: «При всей строгости и предусмотрительности розыска не оказывается доселе даже следов, по которым можно было бы предположить существование между ними общества».

«Дело о лицах, певших пасквильные песни» раздувало жандармское управление при поддержке полицейского начальства. 18 июля Шубинский сообщает Бенкендорфу, что накануне, при разборе бумаг Огарева была открыта его переписка с Герценом и посылает выписки из писем Герцена к Огареву от 5 и 19 июля 1833 г. и от 31 августа 1833 г. На следующий день, 19 июля, Цынский просит генерал-губернатора Голицына разрешения на арест Герцена: «При рассмотрении бумаг, принадлежащих студенту архива Огареву, найдены письма к нему от Герцена, по содержанию коих и признано необходимым взять под арест для снятия показания и самого Герцена».

Александр Герцен жил тогда на Сивцевом вражке, в доме, недавно купленным его отцом у графини Растопчиной. В ночь с 20 на 21 июля он был арестован и препровожден в Пречистенскую полицейскую часть, которая располагалась в Штатном переулке (сейчас это Кропоткинский переулок – последний между Остоженкой и Пречистенкой перед Садовым кольцом; дом под номером 23, строение 3 в перестроенном виде сохранился).

Уже днем 21 июля Герцена везут на допрос к Цынскому. Дом обер-полицмейстера тогда находился в бывшем «доме Кологривова» на Тверском бульваре (в 1930-е гг. дом был снесен, сейчас на этом месте новое здание МХАТ). Особняк этот с прилегающим участком в 1830 г. приобрела Московская дума для Московского Полицейского управления – там оно и существовало вплоть до революции 1917 г. Старый «Дом Кологривова» известен, в частности, тем, что здесь, на балу, ежегодно дававшемся знаменитым танцмейстером Петром Андреевичем Иогелем, в декабре 1828 г. 30-летний Пушкин впервые увидел 16-летнюю Натали Гончарову.

23 июля 1834 г., по предписанию московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, учреждается Следственная комиссия в составе московского обер-полицмейстера Л.М.Цынского, жандармского полковника Н.П.Шубинского, некоторых полицейских и жандармских чинов и обер-аудитора Н.Д.Оранского в качестве секретаря.

В эти дни Шубинский, разбиравший изъятые бумаги Герцена, доносит Бенкендорфу, что в личных бумагах Герцена, «подобно письмам его к Огареву, также довольно много обнаруживается дух свободомыслия». «По важности уже вновь открывающегося

обстоятельства, требующего наибдительнейшего внимания и быстрого движения», Шубинский предлагает Бенкендорфу создать «особенную секретную комиссию, которая, занимаясь одним сим предметом, могла бы вести ход дела гораздо успешнее».

Это предложение было поддержано Бенкендорфом, а затем и Императором. Николай I принимает решение поручить возглавить следствие своему личному другу, наиболее доверенному лицу в Москве – попечителю Московского учебного округа, князю Сергею Михайловичу Голицыну, т. е. тогдашнему хозяину нашего «философского дома» на Волхонке.

Бенкендорф пишет Сергею Голицыну специальное письмо, в котором, в частности, говорится: «В недавнем времени арестовано в Москве несколько молодых людей, избличенных в пении пасквильных стихов». Примечательно, что при перечислении этих «молодых людей» Бенкендорф ошибочно называет Герцена – «Герцелем». В тот же день, 31 июля, был утвержден персональный состав второй Следственной комиссии по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», куда, помимо председателя, князя Сергея Голицына, вошли: московский комендант генерал-лейтенант Стааль, жандармский полковник Шубинский; комиссии придан в качестве секретаря тот же обер-аудитор Оранский. Активным участником следствия остается обер-полицмейстер Цынский. Итак, вторая Следственная комиссия обосновывается в доме князя Сергея Голицына на Волхонке.

В состав комиссии приказом Императора был включен специально присланный из Петербурга, состоящий по III отделению Его Императорского Величества канцелярии камергер князь Александр Федорович Голицын, которого Герцен в мемуарах называет «Голицын junior». Герцен пишет в «Былом и думах»: «Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А.Ф.Голицына. Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник Третьего отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан, да несколько служилых остзейцев и падших поляков».

Что это за фигура? Князь Александр Федорович Голицын, 1796 года рождения (т. е. ровесник царя Николая), дипломат, затем сотрудник и ближайшее доверенное лицо великого князя Константина Павловича в бытность его в Польше. Участвовал в подавлении

восстания в Варшаве в 1830 г. В 1831 г., после смерти Константина, переведен в Петербург, где был причислен к Особе Е.И.В.; затем, произведенный в статские советники (в 35 лет уже полковник!), причислен к III-му Отделению Собственной Е.И.В. Канцелярии, с которым и до этого сотрудничал.

1 августа жандармский полковник Шубинский доносит гр. Бенкендорфу: «Более всех из содержащихся под арестом обращают на себя внимание Огарев, Герцен и последователь их Оболенский, ибо в отобранных у первых двух бумагах оказываются некоторые сочинения и письма, кои подают повод заключать о каком-то намерении их». Особенно насторожило жандармов письмо Герцена к Огареву от 24–27 июня 1833 г., где Герцен, в частности, писал о «преобразовании рода человеческого в политическом его существовании».

7 августа 1834 г. происходит первый допрос Герцена в доме на Волхонке – его в сопровождении квартального поручика приводят пешком из Пречистенской части (идти тут недалеко). Допросы производились в Библиотеке князя Сергея Голицына, рядом с «красным залом». Напомню, что для хозяев этого особняка, князей Голицыных, эти комнаты по фасадной анфиладе на втором этаже были предметом особого почитания: именно здесь в 1775 г. находились личные апартаменты жившей у Голицыных во время пребывания в Москве императрицы Екатерины II (Кремль она, как известно, не любила).

Герцен вспоминал в «Былом и думах»: «Первый допрос мой продолжался четыре часа... В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек, или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: “Как вы объясняете следующее место вашего письма?” Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном месте аудитор открыл фразу: “Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов”... – На конституционную форму можно нападать с двух сторон, – заметил своим нервным, шипящим голосом Голицын junior (продолжает Герцен), – вы не с монархической точки нападаете, а то

вы не говорили бы о рабах. – В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной Второй, которая не велела своим подданным зваться рабами...»

Александр Иванович вряд ли знал тогда, что разговор о Екатерине Великой состоялся как раз в тех самых апартаментах, где она когда-то жила. Как бы там ни было, но Голицын junior, похоже, понял, что столкнулся с «твердым орешком». «Яд в ловких руках опаснее», – глубокомысленно заметил тогда Голицын junior, по ироничному замечанию Герцена, «превредный и совершенно неисправимый молодой человек». «Приговор мой лежал в этих словах», – понял в тот момент Герцен.

Он, по его воспоминаниям, получив тогда «вопросные пункты», начал на них отвечать и «сидел один в небольшой комнате». «Вдруг отворилась дверь и вошел Голицын junior с печальным и озабоченным видом. – Я, сказал он, пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим (отец Александра Голицына был камергером двора, попечителем Московского университета) заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру; для этого вам надобно выпутаться из дела, а это зависит, по счастью, от вас...» «Я видел, куда шла его речь, вспоминал Герцен, кровь у меня бросилась в голову – я с досадой грыз перо...» А «инквизитор» продолжал: «Вы идете прямо под белый ремень или в казематы, по дороге вы убьете отца, он дня не переживет, увидев вас в серой шинели». «Я хотел что-то сказать, – пишет Герцен, – но он перервал мои слова. – Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того чтоб обратиться на вас монаршую милость, нам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы... из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, и которые не были так скромны, как вы; вы им не поможете, а они вас стащат с собой в пропасть. Напишите письмо в комиссию, просто, откровенно скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лет, назовите несчастных заблудших людей, которые вовлекли вас... Хотите ли вы этой легкой ценой искупить вашу будущность? – и жизнь вашего отца? – Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова, – ответил я. Голицын встал и сказал сухим голосом: – А, так вы не хотите, – не наша вина!».

После четырех часов допроса Герцену предстояло возвращаться в Пречистенскую часть, опять пешком, под конвоем. А ведь его дом на Сивцевом Вражке почти по пути, и он как-то уговорил квартирного поручика Борзова завести его по дороге к отцу. По этому инциденту было потом специальное разбирательство, о котором Шубинский докладывал Бенкендорфу.

9 августа Следственная комиссия, на основании первых допросов, разделила всех привлеченных к делу на три разряда. Герцен был отнесен к первому вместе с Огаревым, Соколовским и непосредственными участниками криминальной пирушки. В «Записке» второй Следственной комиссии Герцен был охарактеризован как «молодой человек пылкого ума и хотя в пении песен не обнаруживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества».

Здесь важно понять общий фон, на котором происходили описываемые события. Весна и лето 1834 г. были в Москве непростым и очень нервным временем. То и дело в разных частях города вспыхивали пожары, и власти не без оснований подозревали поджоги. А ведь год был неординарный: августейшая семья собиралась в сентябре приехать в Первопрестольную, а затем проехаться по Центральной России.

Перед юбилеем коронации Николая Павловича (22 августа 1834 г. исполнялось 8 лет со дня его коронации в Москве) усилились слухи о готовящихся новых поджогах. Герцен вспоминал в «Былом и думах» о том, что он лично наблюдал в Пречистенской части: «Перед 22 августа, днем коронации, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет. Переполошилось трусливое московское начальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон уланов стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешие беспрестанно объезжали улицы. В экзерциргаузе была приготовлена артиллерия... Этот военный вид скромной Москвы был странен и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор... Пожаров не было. Вслед за тем явился сам государь в Москву. Он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен, что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен, что не нашли зажигателей, словом, был недоволен всем и всеми. Мы вскоре почувствовали высочайшую близость».

20 августа председатель Следственной комиссии князь Сергей Голицын, явно с подачи Шубинского, предписал московскому почт-директору А.Я.Булгакову «наблюдать за перепиской арестованных», подобно процессам 1827 и 1831 гг., когда в Москве были раскрыты молодежные диссидентские кружки соответственно братьев Критских и Сунгурова. Здесь же прилагался список имен, в котором первыми шли Огарев, Герцен и Оболенский.

23 августа Александр Иванович Герцен вторично побывал в особняке на Волхонке и снова отвечал на вопросные пункты Следственной комиссии. Сохранились полные стенограммы всех допросов, включая даже черновики ответов Герцена. Интересен характер вопросов, а по ответам Герцена можно понять избранную им тактику. Вот только один пример ответов Герцена на вопросные пункты, предложенные ему 23 августа 1834 г.

Вопрос № 6: «Для чего друг ваш Огарев в письме своем советует вам как можно чаще читать Вильгельма Телля?»

Ответ Герцена: «Вильгельм Телль – лучшее произведение Шиллера, так его понимают германцы, так о нем отзывается Шлегель, посему г. Огарев, пораженный наравне с ними красотою сей трагедии, советует мне читать ее чаще».

Несмотря на усердие жандармского полковника Шубинского, есть основания полагать, что Председатель комиссии, князь Сергей Голицын, постоянно осаждаемый прошениями влиятельных дворянских семейств Яковлева и Огарева-старшего, не был настроен раздувать дело и сделал многое для того, чтобы вывести Герцена и Огарева из числа обвиняемых по «первому разряду», обещавшего суровое наказание.

Так, 3 сентября Сергей Голицын запросил управление Московской дворцовой конторы (где формально числился Герцен) справку о его поведении и образе мыслей. 6 сентября управляющий конторой кн. С.И.Гагарин сообщил кн. Голицыну, что за время службы Герцена он «в образе мыслей, которые были бы противны религии и клонились бы к неповиновению властям, замечен не был, равно также не был замечен никогда и с невыгодной стороны». Это позволило Сергею Голицыну написать Бенкендорфу следующее: «Герцен подвергнут аресту по дружественной связи с Огаревым. Он человек самых молодых лет, с пылким воображением, способностям и хорошим образованием. В пении пасквильных стихов не

участвовал, но замечается зараженным духом времени. Это видно из бумаг и ответов его. Впрочем, никаких злоумышлений или связей с людьми неблагонамеренными доселе в нем не обнаружено».

В первые дни сентября 1834 г. Герцен был переведен из Пречистенской части в Крутицкие казармы (тюрьму на территории бывшего Крутицкого монастыря). Это произошло через несколько дней после приезда в Москву Государя-Императора Николая Павловича с семьей и свитой.

Здесь надо сказать несколько слов о тогдашнем умонастроении Николая I, ибо, по большому счету, именно он был главной, хотя и закулисной фигурой в той истории. Как известно, драматические обстоятельства его воцарения в декабре 1825 г. оставили по себе глубокий след на всю его жизнь. Пережитый им в связи с «декабристским восстанием» страх особенно отравил первые годы царствования. Так, уже упомянутые молодежные кружки в Москве братьев Критских и Сунгурова, объявившие себе прямыми наследниками декабристов, были подавлены с особой жестокостью в 1827 и 1831 гг. Кружок Герцена и Огарева, фактически выявленный в ходе следствия 1834 г., ожидала та же участь.

Но к 1834 г. настроение императора несколько изменилось. Он уверовал в собственную силу и во внешнюю молчаливую лояльность общества; Наследник-цесаревич Александр Николаевич достиг совершеннолетия и принял присягу; власть династии укрепилась. В 1834 г. (как раз в том году, о котором идет речь) произошли существенные подвижки в области государственной политики и идеологии. В начале года было принято решение о резком сокращении контактов русских подданных с Европой. В апреле был установлен предельный срок пребывания русских за границей: для дворян – 5 лет, для остальных – 3 года. Через некоторое время будет резко увеличена пошлина на приобретение загранпаспорта.

На вторую половину года было запланировано большое путешествие Императора по губерниям Центрально-Европейской России. В самом начале сентября император приезжает в Москву, а затем едет по историческим местам, «культовым» для русской государственности: Смоленск, Малоярославец, Тарутино (где был лагерь Кутузова); с особой помпезностью посещает Куликово поле. После возвращения в Москву путь его лежит на восток: в начале октября царь едет в Ярославль, потом Кострому, где посеща-

ет Ипатьевский монастырь (откуда пошла династия Романовых), встречается с потомками Ивана Сусанина. Именно после этого визита в России начинается подлинный «культ Сусанина». Молодой Михаил Глинка начинает писать оперу «Жизнь за царя»; главная площадь Костромы – Екатеринославская – переименовывается в Сусанинскую (это было совершенно необычно: площадь имени своей царственной бабушки император лично переименовывает в площадь имени простого крестьянина).

Итак, «меньше Европы – больше народности и православия» – вот новая политика Николая, та политика, которая будет обозначена уваровской триадой: «православие, самодержавие, народность». Император Николай I, судя по всему, был очень доволен своей активностью. По воспоминаниям фрейлины двора Анны Тютчевой, именно в это время любимой фразой императора стали слова: «Я тружусь, как раб на галерах».

После посещения Нижнего Новгорода (откуда началась народное движение против Смуты в начале XVII в.) и старорусской столицы Владимира царь возвращается в Москву – по случаю его приезда 22 октября 1834 г. дается торжественный воскресный бал. Дает его князь Сергей Голицын и происходит этот бал опять-таки в особняке на Волхонке.

Известный мемуарист, тогдашний московский почт-директор А.Я.Булгаков оставил в своих «Современных происшествиях и воспоминаниях» интересные сведения об том вечере: «22-го октября 1834, в воскресенье, был бал у князя Сергея Михайловича Голицына... Хозяин был в полном удовольствии, и, надобно отдать ему справедливость, что он дело свое делал мастерски, в нем виден был истинный вельможа, приобвыкший быть с Государем своим. Он не отягощал Императора беспрестанным своим присутствием и потчеваниями, но никогда не терял Его из виду, и когда Государь имел, что ему сказать, и искал его глазами, то Голицын был всегда тут. Хозяйкою своею избрал он графиню Зубову, но она мало ему помогала и сидела все на одном месте». (Со своей женой хозяин этого дома был, как известно, в разводе).

А всего лишь через неделю с небольшим после императорского бала, 1 ноября 1834 г. Александра Ивановича Герцена опять привозят в дом Голицына на Волхонке, теперь уже из Крутицких казарм, для нового допроса (это было его третье посещение дома на

Волхонке). После допроса, как он вспоминал, ему удалось мельком увидеть в окно Огарева, которого уже увозили обратно в тюрьму: «Я бросился инстинктом к окну, отворил форточку и видел, как сел плац-адъютант и с ним Огарев; я весь дрожал. Как влюбленный, – но дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить; я сам едва его видел, едва разглядел...».

10 декабря Герцен пишет к своей кузине Наталье Захарьиной (она потом станет его женой): «Привык быть колодником, выброшенным из общества, государственным преступником... Неужели нам суждена гибель, и какая гибель, немая, глухая, о которой никто не узнает...».

Наступает новый, 1835-й год, в тюремной жизни Герцена намечаются послабления: снимаются запреты на его встречи с родственниками. Похоже, это результат деятельности Сергея Голицына, сумевшего повлиять на настроения Бенкендорфа, а главное – императора. 21 января князь С.М.Голицын в рапорте Бенкендорфу предлагает в отношении Герцена, «не участвовавшего в пении и слушании пасквильных стихов и прикосновенного к следствию по одному образу мыслей его, не подвергая дальнейшему аресту, отослать на службу в какую-либо отдаленную губернию под строгое наблюдение начальства».

7 февраля Бенкендорф докладывает дело Николаю I. Сам Герцен, однако, судя по его переписке, сомневается в благополучном для себя исходе, тем более, что ходят слухи, что его и Огарева сошлют-таки на Кавказ. 8 февраля он пишет Наталье Захарьиной: «Мне эта новость и не горька и не сладка, лучше на Кавказе 5 лет, нежели год в Бобруйске. Хуже всего, что все то время должно пропасть в моей карьере, ежели забудем пользу от занятий. Я не разлюбил Русь, мне все равно где б ни было, лишь бы дали поприще, идти по нем я могу; но создать поприще не в силах человека». 21 февраля он пишет ей же еще более пронзительное письмо: «Я готов переносить страдания и не такие, как теперь; но не могу снести холода, с каким смотрит свет на нас оловянными глазами; пусть бы нас ненавидели, это всё лучше».

В четвертый раз Александр Герцен был в доме на Волхонке в январе или феврале 1835 г. – точную дату установить вряд ли возможно, потому что допроса как такового не было, запись не велась, повод для вызова был скорее формальным: надо было перечитать

и подписать «вопросные пункты». Об этом приезде есть указание в «Былом и думах»: «В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если хочу, и подписать. Один Шубинский был налицо. Окончив чтение, я сказал ему: – Хотелось бы мне знать, в чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью Свода вы подведете меня? – Свод законов назначен для преступлений другого рода, – заметил голубой полковник. – Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все дело, по которому я сижу в тюрьме седьмой месяц. – Да вы в самом деле воображаете, – возразил Шубинский, – что мы так и поверили вам, что у вас не составлялось тайного общества? – Где же это общество? – спросил я. – Ваше счастье, что следов не нашли, что вы не успели ничего наделать. Мы вовремя вас остановили, то есть, просто сказать, мы спасли вас... Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взошел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собою разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было...».

Между тем следствие подходило к концу. 11 марта было составлено заключение Министерства юстиции по этому делу за подписью министра Д.В.Дашкова. 14 марта состоялся вторичный доклад Бенкендорфа Николаю I, после чего Император по-видимому и принял решение.

23 марта Бенкендорф сообщил председателю Следственной комиссии кн. Сергею Голицыну приговор Николая: А.В.Уткина, Л.К.Ибаева, В.И.Соколовского заключить в Шлиссельбургскую крепость, а «прочим по назначению комиссии». Впрочем, «по назначению комиссии» – это всего лишь псевдолиберальная фигура речи, ибо в тот же Бенкендорф сообщил министру Императорского двора кн. П.М.Волконскому, что приписанный к его ведомству Герцен ссылается в Пермскую губернию. 24 марта Волконский из Петербурга уведомил вице-президента Московской дворцовой конторы кн. А.М.Урусова, что «император соизволил служащего в Московской дворцовой конторе титулярного советника Герцена... отослать в Пермскую губернию», в связи с чем из списков служащих Московской дворцовой конторы Герцена следует исключить.

31 марта 1835 г. все привлеченные по делу выслушали приговор Следственной комиссии (и это было пятое, последнее посещение Александром Герценом дома Голицыных на Волхонке). Герцен писал «по свежим следам» Наталье Захарьиной: «Торжественный, дивный день. Кто не испытал этого, тот никогда не поймет. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти люди под ножом, в большой зале, когда я вошел, и Соколовский, главный преступник, с усами и с бородою бросился мне на шею, а тут Сагин; уже долго после меня привезли Огарева; всё высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы».

В «Былом и думах» об этом дне написано подробнее: «праздник» (на этом слове Герцен продолжает настаивать), правда, обретает здесь несколько иную окраску: «Наконец нас собрали всех... к князю Голицыну для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста. Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца... Не успели мы пересказать и переслушать половину походов, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно – и маленький князь Сергей Михайлович Голицын вошел, лента через плечо; Цынский в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости... Шум и смех между тем до того возростали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное неуважение к высочайшей воле, которую мы должны слышать. Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела: в первом были Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем tutti trutti. Приговор прочли особо первой категории – он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлиссельбург на бессрочное время. Все трое выслушали геройски этот дикий приговор... Цынский, чтоб показать, что и он может быть развязным и любезным человеком, сказал Соколовскому после сен-

тенции: – А вы прежде в Шлиссельбурге бывали? – В прошлом году, – отвечал ему тотчас Соколовский, – точно сердце чувствовало, я там выпил бутылку мадеры».

Как сложилась судьба приговоренных «по первому отделу»? Уткин умер в каземате через два года. Соколовского, как пишет Герцен, «выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пятигорске». «Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по своему: он сделался мистиком».

Герцен был приговорен к административной высылке в Пермь. 9 апреля состоялось его прощальное свидание («на несколько минут») с Натальей Захарьиной в Крутицких казармах, а на следующий день, 10 апреля в 8 утра дежурный офицер объявил, что «через час» Герцен должен отправиться в путь. Он был перевезен в дом московского генерал-губернатора, где ему было разрешено свидание с родными. Оттуда он и отправился в Пермь в сопровождении жандарма Васильева и камердинера Петра Федоровича.

Его оппоненты праздновали победу. Граф Бенкендорф в те месяцы получил высшую награду Империи – орден Андрея Первозванного, а Голицын junior – генеральский чин действительного статского советника. Работы у него при Николае Павловиче будут еще много и свою карьеру этот, по словам Герцена, «отборнейший из инквизиторов» закончит действительным тайным советником.

...Вот так, почти 180 лет назад, в «нашем доме», особняке Голицыных на Волхонке произошла своего рода схватка: схватка убеждений и характеров. Приоритет личной чести и личного достоинства, верности дружбе Александр Иванович Герцен пронес через всю жизнь. Строго говоря, это всегда и было стержнем его политических взглядов. Взгляды менялись – нравственный стержень оставался.

Любопытна и логика его оппонентов. Отставим в сторону мнения служак Шубинского и Цынского, старавшихся раздуть дело. Остановимся на «более умеренной» позиции хозяина этого дома, князя Сергея Голицына, в конце жизни дослужившегося до высшего чина Империи – действительного тайного советника 1-го класса. Вот буквальные слова председателя Следственной комиссии: «Хотя по образу мыслей Огарева и Герцена суждения их, не имеющие еще существенно никаких вредных последствий в прямом

значении, не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг, которыми молодые люди нередко увлекаются в заблуждения, но за всем тем имеют вид умствований непозволительных, как потому, что, укореняясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям; так и потому, что означенные в сем разряде лица по способностям и образованию, могут обольщать ими других».

Это слова из документа, впервые опубликованного в журнале «Голос минувшего» за июль 1918 г. Публикатор и комментатор документа, известный историк и библиограф Л.К.Ильинский так прокомментировал этот пассаж: «Это мнение председателя следственной комиссии – целая программа правительственного отношения к общественным деятелям: “не вреден, но может быть вреден”».

Повторяю, это написано в июле 1918 г., уже после большевистского переворота. Вряд ли публикатор Ильинский и тем более редактор журнала С.П.Мельгунов (вскоре высланный из страны) не понимали уже тогда, что реабилитировать Александра Герцена и осудить его врагов и палачей – это вовсе не означает укоренить в России свободу, мораль и право, о чем всегда мечтал Александр Герцен. Под разговоры о «победе над самодержавием» Россия, под новой большевистской властью лишь заходила тогда на «новый виток» русской несвободы.

Последнее путешествие Николая Владимировича Станкевича (Италия, 1839–1840)¹

Николай Владимирович Станкевич, выдающаяся фигура русского Просвещения, уроженец Острогожска, проведший детство в Удеревке той же Воронежской губернии (сейчас эти два места оказались соответственно в Воронежской и Белгородской областях России), большую часть своей короткой жизни (он не дожил до 27 лет) провел вне родных мест, в постоянных перемещениях по России и за границе – Германии, Швейцарии, Италии. Сегодня нас интересует его последнее, мало изученное путешествие по Италии 1839–1840 гг.

Во второй половине 1839 г. больной туберкулезом Станкевич, продолжавший занятия философией в Берлине, ездил лечиться на курорты Чехии, Южной Германии и Швейцарии, а потом отправился в Италию. Его спутником стал Александр Павлович Ефремов, товарищ по московскому литературно-философскому кружку, потом по Берлинскому университету, впоследствии доктор философии и профессор географии.

С большими трудностями они преодолели разделяющий Швейцарию и Италию Симплонский перевал, поскольку ранние осенние дожди уже затопили долины. Часть горной дороги пришлось идти пешком. 12 октября 1839 г. Станкевич писал родным: «Делать нечего, мы вооружились зонтиками, взвалили чемоданы

¹ Доклад на Международной конференции «Русские интеллектуалы на Лигурийском побережье Италии» 14 октября 2013 г. в «Русском доме» в Генуе (Италия).

на швейцарцев, пришедших к нам навстречу и пошли... Этот переход оказался достоин Суворовского! Наконец я в Италии – и еще сам с трудом этому верю!».

Далее в почтовой карете направились вдоль берега Лаго-Маджоре в Милан, а затем в Геную. Биограф Станкевича, литератор П.В. Анненков, описал начало того путешествия: «Первый взгляд на Италию не произвел на Станкевича того радостного чувства, которое произведено было более знакомым ему миром, Германией. Родовые черты Италии гораздо строже, а приготовления к принятию и разумению их у нас гораздо менее. Италия требует некоторой уступчивости, некоторой доверчивости к себе, особенно устранения укоренившихся привычек в жизни и даже в суждении; затем уже открывает она себя в величии своей простоты или отсталости, если хотите. Станкевич долго всматривался в ее повседневную жизнь, в эту смесь классических и средневековых обычаев, заключенных в строго-изысканную раму, образуемую неизменной природой».

Из Генуи путешественники отправились морем в главный порт Великого герцогства Тосканского Ливорно: «С минуты отплытия до самой высадки на берег меня мучила несносная тошнота, так что два дня потом не мог я равнодушно слышать слов: море и пароход. Это было, вероятно, мое последнее путешествие морем (так, увы, и случилось. – А.К.). Мельком взглянули мы на Ливорно, который кипел продавцами, покупателями, факторами и мошенниками (это порто-франко) и поспешили во Флоренцию» (Из письма родителям 4 ноября 1839 г.).

Страдающий чахоткой Станкевич, первоначально намеревался провести зиму в находящейся ближе к морю Пизе, однако предпочел Флоренцию. 4 ноября 1839 г. он писал родителям уже из Флоренции: «Наконец, я во Флоренции и не нарадуюсь постоянно жилищу... Сначала я думал зимовать в Пизе, недалеко отсюда, – но как Флоренция гораздо приятнее, то я предпочел остаться здесь. До сих пор климат здешний кажется мне очень хорошим. Сегодня, 4 ноября, у меня раскрыты окна, и теплый ветер заменяет дрова. В Пизе, говорят, еще теплее, но я боюсь больше ее низкого положения, а главное того, что она, по общему приговору, довольно скучна и набита заезжими больными. Я не хочу ставить себя в этот разряд. Первые дни занялся я искани-

ем квартиры и потому видел еще мало здешних чудес. Город не велик и улицы довольно тесны – что отнимает вид у множества прекрасных зданий».

В столице Великого герцогства Тосканского Станкевич поселился на площади Санта-Мария Новелла, в ближайшем к знаменитой церкви доме (сейчас это один из корпусов отеля «Minerva»). Родителям он написал о своей новой квартире: «Я нашел себе жилище на **Piazza Santa Maria Novella, на юг, как хотел. У меня довольно** большая комната и маленький кабинет для спальни. Это стоит 40 франков (рублей) в месяц. Здесь любят очень зеркала и потому у меня их три в одной комнате и очень больших, но зато столько же и стульев».

12 ноября он подробнее описал родителям свое житье во Флоренции: «Я уже уведомил Вас, что у меня особая квартира, – до сих пор я ею очень доволен. Благодаря ее положению, я обхожусь пока без дров, несмотря на то, что здесь было уже несколько прохладных дней, но этот холод чувствуется особенно только в тесных улицах и, притом, больше в комнатах, нежели на дворе. На нашей площади, при ясной погоде, бывает нестерпимо жарко. Дожди перепадают довольно часто, но зато в четверть часа просыхают все улицы, вымощенные немного покато в середине, так что вода не держится на них и быстро сбегает в это углубление, по которому течет куда нужно. Но несколько дней мы наслаждались вполне ясным небом: в это время вся Флоренция пустела, жители и иностранцы разбежались по окрестностям».

П.В. Анненков отмечал «особый стиль» Станкевича при осмотре новых мест в Европе: многие из них, «прославленные дорожниками», «считал он просто наказанием путешественников». «Не видать – стыдно, а смотреть – не стоит, говорил он... Он не заглядывает в книжку, отдаваясь вполне одним своим впечатлениям... Общий характер свободы, простора, данного собственной восприимчивостью, не стесняемой чужими представлениями».

Из Флоренции Станкевич поддерживал переписку со своим старинным другом Тимофеем Николаевичем Грановским. 1 февраля 1840 г. он писал ему: «Первые дни я много бегал по галереям, за городом, ездил верхом и ничего почти не делал; наконец, спохватился, стал кое-как работать... Здешние галереи в самом деле богаты и даже мне варвару доставляют много удовольствия... Те-

перь, два слова о Флоренции: первый взгляд на нее вовсе не поразителен. Улицы ужасно узки и темны: кажется, нарочно старались в них спрятаться от солнца. Дома, которые тянутся вдоль Арно по обеим сторонам, очень неживописны, исключая немногих. Но зато через нее брошены четыре славных моста, и вид вдоль по реке, вниз и вверх, очень хорош: обзриваешь пригорки с садами, виллы и проч... По праздникам, с утра до вечера, видишь толпы гуляющих по Арно, а к вечеру наполняются **caffes мужчинами и женщинами**... Тут есть парк – Кашино; в нем каждый порядочный день множество экипажей и верховых; пешие ходят по набережной у Арно; воздух бывает иногда упоителен; тысячи вилл, окружающих Флоренцию, в вечернем свете делают необыкновенный вид. Сад Boboli, принадлежащий к дворцу Великого герцога, превосходит все, что я видел до сих пор из садов. Наша площадь, S-ta Maria Novella, тоже не дурна. На ней стоит прекрасная церковь и два памятника; но на беду, крыльца, окружающие эти памятники, запакошены вечно мальчишками. Ефремов, обыкновенно, наблюдает эти операции с своей хозяйкою из окна». Станкевич сообщал Грановскому, что совершенствует во Флоренции свои языковые навыки: «Прочел несколько скучных драм и романов для усовершенствования себя в итальянском языке; оканчиваю теперь “Флорентийскую Историю” Макиавелли».

Зима во Флоренции нравилась Станкевичу, и он зазывал Грановского присоединиться к нему в следующем году: «Признаюсь, дурно ты сделал, что не отпросился у графа (С.Г.Строганова. – А.К.) на зиму в Италию – он, верно, согласился бы. Не можешь ли на следующее лето поехать куда-нибудь на воды, а на зиму сюда непременно?.. Подумай, Грановский! Нельзя ли весною на воды: в Эмс например, ли куда-нибудь?.. Да не забудь: зиму, зиму, в Италии, – это будет много значить». Из письма Грановскому мы узнаем, что во Флоренции Станкевич любил кататься верхом вдоль набережной Арно в загородный парк: «Недалеко от города есть парк, называемый Cascino; туда устремляется обыкновенно все порядочное общество. Это место очень интересно. Парк идет вдоль реки Арно, пешеходы гуляют по набережной, для экипажей и верховых идут две больших аллеи посередине. С другой стороны, в параллель Арно, тянутся горы, из которых ближайшие испещрены виллами. При захождении солнца этот вид имеет необыкновенную

прелесть. Мы с Ефремовым несколько раз отправлялись туда вер-
хами и встречали большие кавалькады дам и кавалеров, особенно
много англичанок».

В конце декабря флорентийский приятель Станкевича, англи-
чанин Кенни организовал поездку в Ливорно и Пизу, о которой
Станкевич написал 3 января 1840 г. в шуточном письме младшим
сестрам: «У него коляска такая славная, укладистая; он накла-
л в нее и печенья, и хлеба с маслом – мы, говорит, четыре дня поез-
дим; в четверг выедем, воскресенье приедем; нанял лошадей, впе-
ред написал к содержателям гостиниц, чтоб нам были комнаты с
камином – и мы двинулись... Чудесная сторона! Так, что не слиш-
ком досадуешь даже на нищих, которые беспрестанно бегут по
обеим сторонам коляски... Ефремов очень забавен дорогою: часам
к 4-ем он начинает обыкновенно меня спрашивать: не чувствую
ли я чего-нибудь особенного? Это значит, что он голоден. А после
обеда – он обыкновенно тотчас отправляется спать».

В конце февраля погода во Флоренции переменилась, подули
северные ветры, и врачи посоветовали Станкевич ехать на юг Ита-
лии. Он приехал в Рим 8 марта 1840 г. и снял квартиру в третьем
этаже по адресу: **Corso, № 71. Станкевич приехал в Рим из Фло-**
ренции 8 марта 1840 г. и снял квартиру в третьем этаже по адресу:
Корсо, 71. В письме к своим друзьям Фроловым, оставшимся во
Флоренции, Станкевич так описывал свое новое жилище, которым
был очень доволен: «Железная печка очень хорошо греет комнату,
чистую, веселую и удобную. Маленький Schlaf-cabinet <спальня –
нем.>, по счастью, как раз против печки, следовательно, с этой
стороны я обеспечен: солнце, когда оно на небе, смотрит и сюда –
не знаю, надолго ли, потому что с моего перехода только сегодня
утром нет дождя. Но, по положению и заверению хозяйки, можно
надеяться всего хорошего и в этом отношении».

По словам Анненкова, в то время, когда Станкевич приехал
в Рим, «Вечный город» «носил особенный характер и как будто
создан был для того, чтобы образовать душу художника или фило-
софа. Он походил на академию, разросшуюся в большой город.
У великолепных ворот его замолкал весь шум Европы, и человек
невольно обращался или к прошедшему, которое встречало его на
каждом шагу, или под тенью его сосредотачивался в себе самом, в
собственной мысли. Современная жизнь показывалась в тогдеш-

нем Риме одною стороною своей – стороною, обращенною к искусству. По улицам его ходили великолепные процессии, окрестности его беспрестанно наполнялись шумом тех религиозно-художественных торжеств, в которых народ выказывает так могущественно свою изобретательность и врожденное чувство изящного. Эти проявления народного творчества, вместе с отсутствием пустой роскоши, беготни за новостями и с чертами врожденной веселости, счастливо соединенной в национальном характере с какою-то степенностью, делали из обиходной жизни Рима нечто весьма непохожее на жизнь в других городах. Одно отсутствие материальных стремлений и горделивое довольство самим собой каждого его гражданина заставили некоторых мыслителей предрекать великую будущность новому Риму. Затем, если в ограде Рима скрывались и словно пропадали для всего света многие личности, прошумевшие в Европе, то не менее было и таких, которые в нем искали необходимого приготовления к подвигам жизни и деятельности... Место, где совершается процесс этот, разумеется, значит мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европе не было города способнее Рима собрать все нравственные силы человека в один центр и, так сказать, в одну массу. Именно это и происходило со Станкевичем. Развитие его достигло конца, и мудрое, симпатическое, но спокойное созерцание мира все более и более росло и укреплялось в нем».

Действительно, зарисовки Рима, содержащиеся в письмах Станкевича того времени, говорят о независимом и оригинальном понимании им ценностей «Вечного города».

О Колизее: «Не знаю, каков был он в своем цвету, в первобытном виде, но, верно, не лучше, чем теперь! Я не думал много о его назначении, о народе, растерзанном зверьми в его стенах, я видел только огромную, гармоническую развалину и темно-синее небо, просвечивавшее во все ее окна. Внутренность его также хороша: я всходил на высший этаж. Ступени, на которых сидели прежде зрители, теперь обрушились, и потому не видишь больше пустого места, которое должно быть занято, чтобы здание имело значение. Кустарник растет на месте этих ступеней и делает эту развалину полною и удовлетворительною в самой себе. Внизу, на площади, где сражались гладиаторы, стоят теперь так называемые станции, представляющие шествие Христа на Голгофу и посредине распятие». (Из письма Фроловым от 13 марта 1840 г.)

О Соборе св. Петра: «Храм Петра превзошел мои ожидания: представьте громаду, которая была бы велика, как площадь, но такую стройную и гармоническую, что вы обозреваете ее одним взглядом. В церкви дышишь вольно и поднимаешь голову выше. Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу своею необыкновенностью: душа выше ее, но она довольна, когда находит себе такое жилище. Огромный купол чудесен. Мы лазили и туда; мозаики, кажущиеся снизу почти миниатюрными, колоссальны. Двор церкви, с фонтанами и обелиском – великолепен». (Из письма Фроловым от 19 марта 1840 г.)

О статуе «Моисей» Микеланджело в церкви Сан-Пьетро ин Винколи: «Я, кажется, не писал вам еще о “Моисее” Микельанджело? Что это за художник! У него один идеал – сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукою! Эта статуя – в церкви Св. Петра. Лицо Моисея далеко от классического идеала: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро, одною рукою придерживает он бороду, которая падает до ног, другою, кажется, закон. О свободе, отчетливости в исполнении и говорить нечего. Гете, посмотрев на творение Микельанджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу и от этого в ту минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, что есть что-то уничижительное в этой гигантской силе, но не смело ли это сказать? В его искусстве нет этой мирящей силы, которая господствует и в греческом христианском искусстве. Он возвратился к Старому Завету; этот служитель бога ревнивого – настоящий его сюжет, богоматьер... женщина вообще – не его дело. Я готов был сказать: в его искусстве нет божества... но это несправедливо – нет всего полного, любящего. Из божества в нем осталась сила» (Из письма Фроловым от 5 апреля 1840 г.).

Анненков так пишет об оригинальном способе познания Станкевичем Рима: «Общий характер свободы, простора, данного собственной восприимчивостью, не стесняемой чужими представлениями предметов, лежит уже на всех исследованиях Станкевича в Риме. Он как будто приводит в исполнение слова, сказанные им однажды по поводу отношений между наукой об искусстве и пониманием его: “Отдадим кесарю кесарево, а Божье душа узнает”».

Тогда, в Риме, Станкевич взял под свою опеку юного Ивана Тургенева, который оставил нам портрет Станкевича того времени: «Станкевич был более, нежели среднего роста, очень хорошо сложен – по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покаты́й лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел, нос тонкий, с горбиной, красивый, с подвижными ноздрями, губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами».

По причине обострившейся болезни Станкевич не смог составить кампанию Ефремову и Тургеневу в их поездке в Неаполь. Он решил отдохнуть в местечке Альбано под Римом, откуда оставшимся во Флоренции друзьям: «Путешествие мне еще нелегко от болей, которые все странствуют по правому боку с места на место и не дают спать порядочно... Воздух был бы здесь недурен, если б мог я далеко ходить, но так я могу только наслаждаться великолепным видом из моих окон. Моя комната – для поэта: грязный, кирпичный пол, полинялые стены, небольшая, но с окном посередине, откуда видны лесистые холмы, равнина и вдалеке море. Прислужник, лет 55 если не больше, толст и с красным носом, говорит совершенно в роде гоголевского судьи, как старинные часы, которые сначала хрипят, потом бьют» (Из письма Фроловым 30 апреля 1840 г. из Альбано).

Одной из последних радостей для Станкевича стал приезд в Рим Варвары Александровны Дьяковой (урожденной Бакуниной) – младшей сестры его рано умершей невесты Любви Бакуниной. Варвара Дьякова тогда фактически разошлась с мужем и путешествовала по Европе с четырехлетним сыном Александром. 19 мая 1840 г. Станкевич написал большое и искреннее письмо Михаилу Бакунину, брату Любви и Варвары – своей умершей невесты и своей последней обретенной любви: «Любезный Мишель!.. Прежде всего, скажу тебе, что Варвара Александровна здесь, в Риме. Я собирался ехать в Неаполь, заболел – и она, узнавши об этом, приехала нарочно, чтобы меня видеть... Теперь ты можешь судить, что такое для меня святое, братское участие сестры твоей – я не умею тебе сказать ни слова о том, что произвел приезд ее, но она, это видит, я в этом уверен. Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? Оно не заслужено совсем. Она окружает меня самую сильную, самую святою братскою любовью; она

распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье и сердце, я становлюсь и крепче и святее... Я еще слаб, хотя поправляюсь с каждым днем с приезда сестры твоей... Сегодня, на общей консультации, положено, чтоб я ехал на Lago di Como и там пил эмсскую воду. Варвара Александровна также намерена туда ехать, а зиму мы думаем провести вместе в Ницце. Эта будущность дает мне теперь силы и заставляет сердце трепетать от радости».

В начале июня 1840 г. Дьякова и вернувшийся из Неаполя Ефремов (Тургенев прямо из Неаполя отправился через Геную в Германию) повезли чуть окрепшего Станкевича из Рима во Флоренцию, куда гувернантка привезла из Неаполя сына Варвары. Прожив там несколько дней, они выехали почтовыми каретами в Геную, откуда направились в Милан, чтобы, следуя рекомендациям врачей, двигаться далее к озеру Комо в Ломбардии.

Однако на первой же остановке, в городке Нови-Лигуре (в сорока милях к северу от Генуи), Николай Владимирович Станкевич скончался в ночь с 24 на 25 июня 1840 г. Его тело было перевезено в Геную и там временно похоронено в одной из церквей. Через некоторое время гроб погрузили на корабль, следующий из Генуи в Одессу, а затем переправили в родовое имение Станкевичей Удеевка Воронежской губернии.

Чехов и Данте (к истории итальянских путешествий Антон Павловича Чехова)¹

Литераторы, в том числе русские, любили путешествовать. «Дорога», с легкой руки Гоголя, была объявлена излюбленным состоянием человека пишущего. Но даже на общем фоне русских литераторов-путешественников Антон Павлович Чехов выделяется масштабностью своих вояжей. С детства его кумирами были выдающиеся путешественники – Стэнли, Камерон, Пржевальский. Как известно, после поездки на Сахалин 30-летний Чехов вернулся в Россию сложным кружным путем – через Японию, Китай, Филиппины, Сингапур, Индию, Цейлон, Египет и Турцию. Но мало кто знает, что по возвращении он почти сразу начал планировать поездки в Америку, в Японию и Индию – причем надолго. Несколько раз порывался ехать в Австралию и Африку. Ну и, разумеется, неоднократно бывал в Европе.

Путешествие – особое состояние человека. Материалы, связанные с путешествиями (путевые дневники, переписка с близкими людьми, воспоминания) вскрывают порой такие глубины, о которых не догадывались окружающие, тем более, если речь идет о человеке по жизни закрытом, не любящим пускать в свою душу. Чехов – именно такой человек, но и Италия – такая страна, которая едва ли не в наибольшей степени провоцирует спонтанное раскрытие человеческих чувств и переживаний. Знаменитый соци-

¹ Доклад 12 октября 2010 г. в Институте философии РАН на конференции «Проблемы российского самосознания: мировоззрение А.П.Чехова».

олог Максим Максимович Ковалевский, одно время бывший очень близким другом Чехова, мудрый и энциклопедически образованный человек, сказал как-то о Чехове: «Из всех встреченных мною людей Чехов в наименьшей степени был туристом».

А.П.Чехов трижды путешествовал по Италии. Первый раз – в марте-апреле 1891 г. (ему тогда был 31 год) вместе со своим издателем и другом Алексеем Сувориным. Маршрут: поездом через Варшаву и Вену в Венецию; затем – Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь (с посещением Помпей и восхождением на Везувий), опять Рим, потом – Ницца, Монте-Карло, Париж.

Второй раз – в сентябре-октябре 1894 г. снова с Сувориным. Маршрут: на этот раз из Крыма в Вену, потом Аббатия (сегодня курорт Опатия в Хорватии), Триест (тогда австрийский, сегодня итальянский порт), Венеция, Милан, Генуя, затем Ницца, Париж, Берлин.

Наконец, третий раз – в январе-феврале 1901 г. вместе с Максимом Ковалевским и ученым-биологом Коротневым. Маршрут: из Ниццы (где они тогда жили) в Пизу, Флоренцию, Рим. Планировали ехать дальше в Неаполь, но Чехов, взволнованный известиями о постановке «Трех сестер» в МХТ, внезапно решил прекратить вояж и ехать из Рима в Россию.

Первое путешествие в Италию было предпринято Чеховым всего лишь через несколько месяцев после поездки на Сахалин. Эти два путешествия, на мой взгляд, и надо рассматривать в паре. Ведь у каждого путешествия есть своя пространственно-временная метафизика. Сахалин и Италия (прежде всего Венеция) представляют из себя именно такую метафизическую пару: «Ад – Рай».

Об этой «дантовской теме» в путешествиях Чехова немало написано в литературе. Есть и известные театральные постановки: например, к чеховскому юбилею 2009 г. на сцене сахалинского «Чехов-центра» шведский режиссер Александр Нордштрем поставил спектакль «Остров Сахалин», где переплетены переписка Чехова и мотивы «Божественной комедии» Данте.

Надо сказать, что рубеж 1880–1890-х гг. был очень тяжелым для Антона Павловича. В первой половине 1889 г. буквально сгорел от туберкулеза за каких-то три–четыре месяца брат Чехова – художник Николай Павлович. После похорон Чехов, гонимый тоской, вплотную начинает переговоры с издателем Алексеем

Сувориным о своей поездке на Сахалин. Суворин поначалу отговаривал Чехова, справедливо полагая это сумасшествием для нездорового человека.

Но уже 9 марта 1890 г. Чехов пишет Суворину о своей поездке, как о вопросе решенном: «Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен... Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски, мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей».

В литературе о Чехове неоднократно отмечалось то влияние (тщательно прикровенное, но для внимательного специалиста очевидное), которое сыграла в решении Чехова ехать «Божественная комедия» Данте. Путешествие на Сахалин – это путешествие в дантовский Ад, тем более страшный, что он вполне реален.

Уже приближение к Сахалину описывается Чеховым как «дорога в Ад». В очерках «Из Сибири» Чехов писал об Иртыше и его берегах, что «судя по виду», на здесь «могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам». А в книге «Остров Сахалин» Чехов напишет: «Приговоренный к каторге удаляется из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в нее и таким образом как бы умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя: “Мертвые с погоста не возвращаются”». Надо добавить, что, чурающийся всякой метафизической отвлеченности, Чехов вымарывал из черновиков практически все прямые коннотации с дантовским «адам». Его слог жесткий, почти бухгалтерский, – но тем самым еще более беспощадный.

Вскоре после возвращения с Сахалина Чехов создает рассказ «В ссылке». Американский литературовед Роберт Джексон пишет о символике в этом рассказе, связанной с образами «Божествен-

ной комедии» Данте: Семен Толковый – это Харон, перевозчик в «страну мертвых»; река – это Стикс, отделяющий страну мертвых от страны живых...

Однажды, в письме Д.В.Григоровичу в связи с его рассказом «Сон Карелина», Чехов так описал свой сон, который он часто видит, когда сильно замерзает: «Когда ночью спадает с меня одеяло, я начинаю видеть во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду, голые берега... в унынии и тоске, точно заблудившийся или покинутый, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбежность перехода через глубокую реку... Все до бесконечности сурово, уныло и серо. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны... И в это время весь я проникнут... своеобразным кошмарным холодом... во сне ощущаешь давление злой воли, неминуемую гибель от этой воли...».

Аллюзиями на тему дантовского «Ада» буквально пропитаны чеховские «Три сестры». Для потрясенных современников это было очевидно: постоянный мотив холода; пожар; фантазмагорический рассказ Андрея о жителях города, в котором живут Прозоровы; образ реки, через которую везут Тузенбаха прежде чем убить на дуэли; руки Соленого, «пахнувшие мертвечиной»; военврач Чебутыкин – новый Харон, сопровождающий дуэлянтов и удостоверяющий смерть. Наконец, подполковник Вершинин – этот новый Вергилий (созвучие имен очевидно) и т. д.

Современники понимали даже мелкие детали, без всякой назидательной патетики, но драматургически очень точно разбросанные Чеховым. Например, когда в первом действии входит Наталья, жена Николая – эта «фурия пошлости», она и входит как фурия – в розовом платье, подпоясанном зеленым поясом: фурии дантовского «Ада», как известно, были в огненных одеждах, и их обвивали зеленные гидры... Все это не выдумки Станиславского и Немировича, а тщательно продуманные Чеховым реминисценции, протрясавшие тем более, что без всякого пафоса были вживлены в самый контекст драматургически изображаемой повседневности.

Экзотические импровизации на чеховские темы имеют место и в наши дни. На Чехов-фесте 2009 г. показывали в т. ч. постановку «В Москву! В Москву!» немецкого режиссера Франка Касторфа: чеховские «Три сестры» там соединены с рассказом «Мужики».

На пятом часу спектакля Ольга, Маша и Ирина сами становятся фуриями, хохочущими черными птицами и изгоняют, наконец, из прозоровской жизни фурию Наташу...

Итак, с метафизическим «Адом» у Чехова более или менее понятно. Но где же «Рай»? В тех же «Трех сестрах» он вроде предполагается в образе далекой и манящей Москвы, и, конкретно, Старой Басманной улицы, где когда-то счастливо жили Прозоровы и о которой так хорошо рассказывает Вершинин-Вергилий.

Теме «Рая», «райского сада» посвящена последняя пьеса Чехова – гениальный «Вишневый сад». «Вишневый сад» – пьеса о рае. Словосочетание «райский сад» тавтологично. Как утверждается в «Библейской энциклопедии» 1891 г. (чеховского времени), рай – «слово персидского происхождения и означает сад». С.С.Аверинцев, отмечая не вполне ясную этимологию слова «рай», указывает на связь его с греческим словом «*парадиз*» («сад», «парк»), произошедшем, в свою очередь, от древнеиранского «отовсюду огороженное место». Сама мифологема «райского сада» восходит к библейскому, ветхозаветному представлению о саде-рае в первой книге Моисея «Бытие»: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал...». Далее в Библии описывается, с какой целью Бог поместил человека в сад: «поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Чехов понимал человеческое предназначение в сходном ключе: слово «труд» часто встречается в его письмах и в самой пьесе.

Но были и другие подступы Чехова к проблематике «Рая». Кусочек «рая» обозначен уже в путевых заметках о путешествии 1890 г., когда Чехов возвращался с Сахалина кружным путем через экзотические страны. Чехов тогда в дневниках и письмах несколько раз называет «раем» Цейлон, Шри-Ланку. Вот фрагмент из письма Чехова И.Л.Леонтьеву (Щеглову) от 10 декабря 1890 г.: «Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне». Но Чехов отлично понимает, что Цейлон – это рай скорее природный, чем человеческий, а детская непосредственность безгрешных островитян – ну никак не тянет на концептуальную симметрию с сахалинской каторгой. Принципиальный вопрос остается: возможен ли «рай» в цивилизации?

Вот в этом контексте и можно рассматривать европейское путешествие Чехова 1891 г., прежде всего в Италию. Очевидно здесь влияние Суворина: сам убежденный италофил, знаток европейской культуры, Суворин явно спешит подставить Чехову готовый ответ: «рай» – это страна победившей культуры, это культурная Европа, Италия прежде всего.

Чехов явно сопротивляется навязанной идее, полагая ее стереотипом. 22 марта (3 апреля) 1891 г. они едут из Вены в Венецию, и Чехов записывает: «От Вены до Венеции ведет красивая дорога, о которой раньше мне много говорили. Но я разочаровался в этой дороге. Горы, пропасти и снеговые вершины, которые я видел на Кавказе и на Цейлоне, гораздо внушительнее, чем здесь».

Вечером того же дня они прибыли в Венецию и на следующий день случайно встречаются в соборе св. Марка чету Дмитрий Мережковский – Зинаида Гиппиус. Те тоже впервые в Италии. Зинаида только что еле выкарабкалась из тифа. Известно, какую роль для них всю жизнь играл Данте: Мережковский на гранте Муссолини даже писал большую работу. Чехов тогда пишет родным: «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошёл от восторга. Русскому человеку, бедному и униженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума». Но, оказывается, эти слова Чехов относит не только к Мережковскому, но уже и к самому себе. Ибо продолжение письма таково: «Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

Чехов в Венеции демонстративно ерничает над восторгами Мережковских и Суворина, но в письмах родным и в дневнике дает волю собственным восторгам. Вот лишь один пример. Существует рассказ Суворина о пребывании Чехова в Венеции, который напечатал в своих мемуарах В.И.Немирович-Данченко. Суворин рассказывал: «Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сыном Суворина. – *А.К.*) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы посмотрел. (надгробие архитектора Каковы в францисканской церкви Фрари. – *А.К.*). Взял с него слово. Утром спрашиваю: Видели? – Видел. – Ну что ж? – Хоть сейчас на Волково кладбище! Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником

и на этом успокоился. Упрекаю его, а он: А зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рожежских купцов?».

На самом деле, Чехов конечно же был в Церкви Фрари и надгробие Кановы, как и находящееся прямо напротив надгробие Тициана, конечно же, видел. Об этом ясно свидетельствуют письма Чехова родным. Вот фрагмент из письма М.Е.Чехову от 25 марта 1891 г. из Венеции: «В одной из знаменитейших церквей у усыпальницы скульптора Кановы лежит просто чудо: лев положил голову на протянутые передние лапы, и у него такое грустное, печальное, человеческое выражение, какого нельзя передать на словах». Эстетическую сторону увиденного Чехов постиг вполне, но даже не это главное. Читаем письмо брату Ивану от 5 апреля 1891 г.: «Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквях; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они не были».

Ну и масса других писем с восторгами о венецианской жизни, не только искусстве. Из письма Ивану: «Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни... А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование. Если когда-нибудь тебе случится побывать в Венеции, то это будет лучшим в твоей жизни». Или там же: «А вечер! Боже, ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, тихо, звезды... Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы... Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков».

Наконец, вот финальные чеховские обобщение из писем родным: «Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция»; или: «Италия, не говоря уж о природе её и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство, в самом деле, есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

Итак, Венеция для Чехова – это воплощенный Рай, мир победившей культуры – это несомненно. Чехов даже, со свойственной ему, как говорили, «бухгалтерской педантичностью», перечисля-

ет в одном из писем родным критерии этого «рая»: «Самое лучшее время в Венеции – это вечер. Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышатся музыка и превосходное пение... В-пятых, тепло...».

Но, повторяю, бедняга Суворин так и не узнал обо всем этом. Вернувшись в Петербург Суворин всем рассказывал (в т. ч. своему приятелю и неоднократно напарнику по путешествиям по Италии Григоровичу): Чехову, мол, «за границей не понравилось». Престарелый Григорович написал об этом в журнале, сделав глубокомысленные обобщения, приписав Чехову чуть ли не славянофильские убеждения: Чехов-де сознательно «уклоняется от запада» – его душа тяготеет к востоку. В этом же была уверена и жена Суворина, Анна Ивановна, о чем открыто писала Чехову. Дело зашло так далеко, что Чехов, живший с мая 1891 г. на даче в Богомово, вынужден был написать специальное письмо Суворину, где с недоумением и горечью цитировал слова Григоровича о том, что Чехов, оказывается, принадлежит к поколению, «которое заметно стало отклоняться от Запада и ближе присматриваться к своему... Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека даже умного».

Чехов написал тогда Суворину: «Мегсі, но я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать “отклоняться от запада”. В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, будто за граница мне не понравилась? Господи ты, Боже мой! Никому я, ни одним словом, не заикнулся об этом... Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с итальянцами и французами?».

Добавлю, что впечатления от Венеции вошли в произведения Чехова: в первую очередь, в «Рассказ неизвестного человека», где герой и его возлюбленная живут в том же самом отеле «Бауэр», где жили Суворины и Чехов. Герой после тяжелой болезни возвращается в Венеции к жизни... Есть там, кстати, и рассуждения про могилу Кановы. (Добавлю от себя: для многих русских путешественников отель «Бауэр» стал местом культовым; например, в 1913 г. там поселились всю жизнь обожавшие Чехова мой

родной дед – присяжный поверенный Сергей Георгиевич Карамурза и моя бабушка, дочь купца второй гильдии Мария Алексеевна Головкина).

Впечатления и от второго путешествия в Италию, в 1894 г., также вошли в произведения Чехова. То было время, когда Чехов обдумывал будущую «Чайку», но все время откладывал начало писания. И все-таки впечатления об Италии 1894 г. вошли в «Чайку». Вспомним разговор Медведенко, Треплева и Дорна из последнего четвертого действия.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что, в самом деле, возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная.

Генуя, которую посетил Чехов в 1894 г., в развязке пьесы возвращает к ее завязке – пьесе-мышеловке, когда Нина Заречная говорит словами «мировой души». Генуя, ее толпа – воплощенная «мировая душа», – эта тема, по-видимому, тревожила Чехова, но прошла пунктиром – в жизни Чехова наступал новый период.

Суворин вспоминал о том путешествии (в частности о посещении Милана и Генуи), что в тот раз Чехова странным образом интересовали две вещи: кладбища и цирк. Суворин пишет: «Это как бы определяло два свойства его таланта – грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим, и над самим собою!». К тому же времени относится и известное высказывание Чехова о том, что он «оравнодушел ко всему на свете», и что «начало этого оравнодушие совпало с поездками за границу».

Последний раз Чехов был в Италии с Максимом Ковалевским в 1901 г., намереваясь спуститься на юг в Неаполь, потом в Бриндизи, откуда намеревался пароходом плыть через Корфу в Россию. Флоренция тогда снова понравилась ему. Он пишет Ольге Книппер: «Одно скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил». Вот следующее письмо ей же: «Ах, ка-

кая чудесная страна, эта Италия! Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным».

Однако это был уже другой Чехов. Путешествовавший с ним вместе по Италии в 1901 г. Ковалевский вспоминал о бессонной ночи в вагоне поезда «Флоренция – Рим»: «Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. “Мне трудно, – сказал он, – задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка”. Чехов, в молодости столь жизнерадостный, заражавший своим смехом читателей “Русского курьера”, в котором печатались его мелкие рассказы, под влиянием болезни становился все более и более сосредоточенным, но не мрачным. Он без страха смотрел в будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой».

Несмотря на точное знание о собственном состоянии, в своих последних письмах родственникам и друзьям смертельно больной Чехов несколько раз упоминал о том, что хочет отправиться на лечение в Италию, в городок Нерви под Генуей. Это была «последняя Италия», о которой Чехов думал и мечтал...

В 2004 г. во время международной конференции «Душа мира и мир Чехова», посвященной 100-летию смерти Чехова, в память о Чехове лицеисты Генуи посадили вишневые деревья в Садах Нерви.

**Тимофей Николаевич Грановский:
«Деспотизм не может ужиться с просвещением...»**

Выдающийся русский историк-просветитель Тимофей Николаевич Грановский родился в Орле 9 марта 1813 г. в дворянской семье. Дед Грановского, появившийся в Орле, как рассказывали, «неведомо откуда с 15 копейками в кармане», накопил здесь немалое состояние на посредничестве в деловых операциях. Однако его сын, чиновник соляного управления, питал неодолимую страсть к азартной игре и быстро спустил отцовские деньги. Эта семейная драма потом долго отравляла жизнь самого Тимофея Грановского, боявшегося, что пагубная страсть отца к картам могла передаваться ему «по наследству».

До тринадцати лет юный Грановский воспитывался дома, обучаясь в основном языкам и достаточно бессистемно поглощая книги из семейной и соседских библиотек. В 1826 г. отец определил его в московский частный пансион Кистера на Большой Дмитровке – один из лучших в тогдашней первопрестольной.

Иоганн Фридрих (Федор Иванович) Кистер, выходец из Брауншвейга, сделал хорошую карьеру на своей новой родине. Имея юридическое образование Гельмштедского университета, он выдержал испытание в Московском университете и получил степень доктора права. Преподавал немецкую словесность в университете, а в 1819 г. основал частный пансион «для благородных детей мужского пола», за образцовое управление которым неоднократно поощрялся Министерством просвещения и был награжден орденом св. Анны 3-й степени. Именно пансиону Кистера Тимофей

Грановский обязан знанием немецкой культуры и языка (французским и английским он овладел еще в детстве), что позволило ему впоследствии плодотворно совершенствовать свое образование в Германии у лучших немецких профессоров.

В Москве юный Грановский познакомился с молодыми преподавателями университета, увлекся поэтическими переводами, начал сам писать стихи и даже напечатал в «Дамском журнале» некую «элегию» собственного сочинения. Однако учебный курс у Кистера Грановским завершен не был: после летних вакаций 1828 г. отец по каким-то причинам оставил его при себе в Орле, где Грановский провел еще три года, о «бессмысленности» которых впоследствии очень сожалел.

В 1831 г. он приехал в Петербург, где недолго работал мелким чиновником в Министерстве иностранных дел, параллельно серьезно готовясь к поступлению в столичный университет. Подав через год в отставку, Грановский поступил, за недостаточностью знаний древних языков, не на словесный, а на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где все равно наибольшее внимание уделял литературе, истории, философии. Ему пришлось тогда начать зарабатывать на жизнь самому (отец часто забывал прислать денег), и вместе со старшим другом Евгением Коршем, будущим известным журналистом, стал активно сотрудничать в популярной тогда «Библиотеке для чтения» О.Сенковского, где помещал переводы, рецензии, небольшие статьи. Литературные дарования Грановского обратили на себя внимание, в частности, известного литератора и преподавателя университета П.А.Плетнева. Обладая обширными знакомствами, тот ввел Грановского в литературные круги обеих российских столиц, познакомил с В.А.Жуковским, В.Ф.Одоевским, А.С.Пушкиным.

После окончания университета Грановский несколько месяцев служил библиотекарем при Главном морском штабе. Бывая в Москве, он в 1836 г. познакомился с Николаем Станкевичем и примкнул к его кружку «молодых гегельянцев». Один из членов кружка, Владимир Ржевский (из помещиков Мценского уезда, сосед И.С.Тургенева), сыграл важную роль в дальнейшей биографии Грановского. Пользуясь близким знакомством с попечителем Московского учебного округа, графом С.Г.Строгановым, Ржевский

включил Грановского в группу молодых людей, командируемых для продолжения образования и подготовке к профессорскому званию в Германию.

Обучаясь в 1836–1839 гг. в Берлинском университете истории, философии и языкам, Грановский получил уникальную возможность общения с корифеями европейской науки. Особое влияние на него оказали историки и политологи Леопольд Ранке и Фридрих Раумер, один из основоположников новейшей географии Карл Риттер, юрист Фридрих Савиньи, философы-гегельянцы Эдуард Ганс и Карл Вердер. В Берлине Грановский еще более сдружился с лидером русских «гегельянцев», удивительным человеком и ярким мыслителем Николаем Владимировичем Станкевичем.

А.И.Герцен, хорошо знавший и Грановского, и Станкевича, очень глубоко и точно, как представляется, описал характер их общения в университетском Берлине: «Жизнь Грановского в Берлине со Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какую дружба только бывает в юности... Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... И оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти...» «Но для кровной связи, для неразрывного родства людей, — продолжает Герцен, — сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга, для деятельной любви — различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку. В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не

выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением; Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду».

Ранней осенью 1839 г. молодой историк Грановский приехал в Москву и 17 сентября прочел свою первую лекцию по всеобщей истории университетским филологам и юристам, очень быстро завоевав симпатии студенчества. В то время в Москве он впервые познакомился с Герценом, который впоследствии вспоминал: «Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустнодобродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности, и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой».

Несмотря на тихий голос и скверную дикцию, Грановский, получивший дружеское прозвище «шепелявый профессор», вскоре стал самым популярным лектором университета. Слушатели, приходившие с разных факультетов и до отказа заполнявшие лекционную залу, вполне понимали главное: прогрессистские настроения молодого профессора-европеиста шли вразрез с господствовавшей в николаевскую эпоху и административно насаждаемой «теорией официальной народности», объясняющей незыблемость русских порядков раз и навсегда заданным «цивилизационным кодом». «Несмотря на обилие материалов, – вспоминал один из учеников Грановского, **глубоко** проникнувшийся его гегельянской историософией, – на многообразии явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, – слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел, и

отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к вечным целям, постановленным человеку Провидением».

Позднее это удивительное свойство Грановского – «мыслить и учить историей» – особенно оценил другой выдающийся русский историк, В.О.Ключевский, который полагал, что именно от Грановского «пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек»: «Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни... История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни...».

Довольно быстро универсалист и либерал Грановский убедился в существовании в московском университете сильной «самобытнической партии» во главе с С.П.Шевыревым. Шевырев до этого несколько лет прожил в Италии, обладал большой эрудицией в области истории русской словесности и поначалу пользовался авторитетом у студентов. Однако очень скоро его личностные качества стали вызывать нарастающее неприятие. Даже его коллега и тоже «самобытник» М.П.Погодин вынужден был признать: «С возбужденными всегда нервами вследствие усиленной работы и разнообразных занятий, он делался иногда, может быть, неприятным или даже тяжелым, вследствие своей взыскательности, требовательности, запальчивости и невоздержанности на язык». Студентам явно претили очевидные факты заискивания Шевырева перед «сильными мира сего», его грубость с подчиненными, и даже его женитьба (как все считали, «по расчету») на воспитаннице князя Б.В.Голицына (брата московского губернатора) – С.Б.Зеленской.

Похоже, разделение тогдашней университетской профессуры на две «партии» – самобытников и европеистов, консерваторов и либералов, имело в своей основе не только различия мировоззренческие, но и, так сказать, «стилистические», что для чуткого к таким вещам студенчества имело немалое значение. В этом смысле «искательствующему почестей», «трескучему» на кафедре и бесцеремонному в быту Шевыреву (через несколько лет из-за публичной драки с графом Бобринским ему пришлось оставить

университет) зримо противостоял независимый, скромный, обаятельный и демократичный Грановский, который никогда не ограничивал своего общения со студентами формальными отношениями. «Мне, – написал он как-то Станкевичу, – по приезде сюда советовали держать себя подалее от студентов, потому что они “легко забываются”. Я не послушал и хорошо сделал, В исполнение моих обязанностей я не сделаю никакой уступки, но вне обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами». Студенческий выбор между «партией Шевырева» (М.П.Погодин, И.И.Давыдов, О.М.Бодянский) и «партией Грановского» (куда входили «западники» Н.И.Крылов, П.Г.Редкин, К.Д.Кавелин, Д.Л.Крюков, П.Н.Кудрявцев) был предопределен.

«Стилистику» поведения Грановского в Московском университете, тайну его обаяния и авторитета блестяще раскрыл Герцен в посвященной уже умершему другу главе в «Былом и думах»: «Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в “гневе своем чувствуют вполне свою жизнь”, как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмутимо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей. Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и, действительно, Грановский, по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр».

Однако при всей внешней приветливости и невозмутимости, Грановский был настоящим и бескомпромиссным вождем «либералов» в Московском университете. Среди непрекращающихся «позиционных боев» между двумя «профессорскими партиями» особенно запомнился московским студентам такой случай. В начале 1842 г. «западник» В.Г.Белинский опубликовал в санкт-петербургских «Отечественных записках» едкий памфлет против Шевырева под названием «Педант». Оскорбленный Шевырев пытался апеллировать к «солидарности москвичей» и публично спросил своего коллегу (и подчиненного) по университету Грановского, может ли тот теперь подать руку Белинскому. «Как! Подать руку? –

вспыхнул Грановский. – На площади обниму!»). В.П.Боткин написал тогда Белинскому: «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания: у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах».

В 1841 г. Грановский женился на восемнадцатилетней Елизавете Богдановне, урожденной Мюльгаузен – дочери врача Фридриха-Вильгельма Мюльгаузена. В доме тестя бережно хранились документы, связанные с общением хозяина с Константином Батюшковым и Александром Пушкиным, которых доктор Мюльгаузен когда-то лечил в Крыму от лихорадки.

Большой теплотой наполнены строки Герцена в «Былом и думах», посвященные отношениям Тимофея Николаевича и Елизаветы Богдановны Грановских: «Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитором».

Осенью 1843 г. Грановский с друзьями задумал свой первый курс публичных лекций – небывалого дотоле общественного явления. Помимо традиционного приглашения друзей и знакомых, были распространены платные абонементы по 50 рублей за штуку. Герцен писал тогда Н.Х.Кетчеру: «*Beau monde* собирается к нему, и Петр Яковлевич (Чаадаев. – *А.К.*) говорит, что это событие». К началу ноября было уже собрано 2500 рублей – солидная сумма.

Уникальное для «николаевской эпохи» публичное интеллектуальное действие в самом центре Москвы (лекции должны были проходить в актовом зале Московского императорского университета) быстро поляризовало московское общество. Грановский, по-видимому, впервые в жизни явственно осознал, что у него есть не только друзья и почитатели, но и откровенные враги. 15 ноября 1843 г. он писал Кетчеру: «У меня много врагов. Не знаю, откуда они взялись; лично я едва ли кого оскорбил, следовательно, источник вражды в противоположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих врагов».

23 ноября 1843 г. Грановский прочел в Университете свою первую публичную лекцию по истории средних веков. Весь курс был построен на универсальной историософии Гегеля, что Грановский (без упоминания имени) обозначил в самом начале чтений. Уже первую лекцию Грановского Герцен характеризовал в своем дневнике, как «камень в голову узких националистов...».

Сам Грановский был крайне вдохновлен своим дебютом на публичных слушаниях, по сути, на новом для себя поприще – общественном. В середине декабря 1843 г. он писал Кетчеру: «Не доставало мне эти дни. В жизни моей я не испытал таких тревог и волнений. Лекции мои произвели более впечатления, нежели я ожидал. В аудитории нет места, дамы приезжают за полчаса до начала, чтобы сесть поближе... Хвалят и бранят не в меру... Я начал ругаться с первой лекции, после которой Шевырев поседел и состарился... Шевырев обнаружился вполне: он очень хлопотал до начала лекций, упрекал за то, что я не предупредил его и через это лишил его возможности доставить большее число слушателей. Одним словом, являлся покровителем молодого таланта, а когда лекции начались и пошли хорошо, он приуныл и отпустил уже несколько ядовитых фраз насчет моего направления и пристрастия к известным идеям».

Однако и в те дни Грановский не лишился характерной для него самоиронии: «На первой лекции я, было, очень сконфузился и несколько раз высморкался без всякой внутренней потребности...». Он с юмором выслушивал оценки друзей, например, едкого А.Д.Галахова, который уверял, что Грановский «благодарил публику с таким видом, как будто чихнул, а публика сказала ему: желаю здравствовать». Другие советовали оратору вести себя «театральнее», «чтобы, всходя на кафедру, я делал приятный жест рукой». Грановский отверг дружеские советы: «Я ограничиваюсь одним поклоном и не намерен делать более».

Успех первых публичных лекций Грановского удивил даже друзей. Герцен писал: «Я всегда был убежден, что он прекрасно будет читать; но признаюсь, он превзошел мои ожидания, при всей бедности его органа, при том, что он в разговоре говорит, останавливаясь, – на кафедре увлекательный талант, что за благородство языка, что за живое изучение своего предмета... Какая округлость

в каждой лекции, какой широкий взгляд и какая гуманность – это художественный, полный энергии и любви рассказ. Одна беда: орган плох, на задних лавках худо слышно».

Еще более поразила Герцена реакция московской публики: «И Москва отличилась, просто давка, за ¼ часа места нельзя достать, множество дам..., и все как-то так кругло идет. Сверх билетов, розданных даром, без малого сто взяты (*ergo* около 5000 р.)» (Из письма Кетчеру 2–3 декабря 1843 г.); «Публика, может, сначала стала собираться шутя, курьезу ради, – но вскоре она была увлечена ей вовсе неведомым наслаждением энергической всенародной речью; смелая чистота и романтическая нежность, открыто благородный образ мыслей, вера в прогресс и любовь к каждой увядающей форме – возбуждали *un fremissement de sympathie* (прилив симпатии. – *фр.*)» (Из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

Между тем, лидер университетских «славян», С.П.Шевырев, поначалу вроде поддержал лекции Грановского. «Мы искренно рады тому прекрасному зрелищу, – так начал он свою статью в “Москвитянин”, – которое Московский университет представляет у нас по вторникам и субботам». Далее, однако, Шевырев обвинил Грановского во многих грехах: что в основу курса положена далекая от понимания «русскости» философия истории Гегеля, что Грановский «отклонил от себя изображение борьбы христианства с язычеством и историю образования церкви» и т. п. Герцен охарактеризовал тогда Шевырева и редакцию «Москвитянина» как «добровольных помощников жандармов»: «Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читал о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще».

На все обвинения Грановский был вынужден отвечать в очередных лекциях: чтения окончательно сделались полемическими, а, стало быть, – политическими. Герцен точно заметил: «В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее». Через какое-то время, когда противники начали открытую кампанию за запрещение лекций Грановского, и ранее благоволивший Грановскому граф С.Г.Строганов был вынужден вынести ему серьезное предупреждение, Герцен посчитал, что в любом случае

свою миссию лекции Грановского уже выполнили: «Может, власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику».

Между тем, после небольшого перерыва, связанного с Новым годом и Рождеством (у Герцена в те дни родился сын Николай, и Грановский стал его крестным отцом) лекции продолжились с еще большим успехом. Герцен отмечал: «Лекции Грановского продолжают с чудовищным успехом, и он растет, читая. Что за живой, широкий взгляд, что за язык – просто удивленье... Шевырев и С-ние, удивленные успехом, как-то смолкли, закусив губы...» (из письма Кетчеру 1 марта 1844 г.); «А Грановский – черт его знает, что его прорвало – со всякой лекцией лучше и лучше. Он как-то вдохновляется на кафедре. Речь идет плавно, грустный элемент, присущий ему всегда и во всем, не мешает торжественному *maestoso* – просто каждая лекция художественное произведение. Аудитория так бывает полна, что нет места всем сидеть» (из письма Кетчеру 15–16 марта 1844 г.).

Заключительный день чтений, 22 апреля 1844 г., стал триумфом Грановского. Герцен вспоминал: «Такого торжественного дня на моей памяти нет... Аудитория была битком набита, Грановский заключил превосходно; он постиг искусство как-то нежно, тихо коснуться таких заповедных сторон сердца, что оно само, радуясь, трепещет и обливается кровью... Окончив, он встал. “Благодарю, – говорил он, – тех, которые сочувствовали с моими убеждениями и оценили добросовестность, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, благородно высказывали мне несколько раз свое несогласие”; при этих словах он как-то весь трепетал, и слезы были на глазах, когда он еще раз сказал: “Еще раз благодарю вас”. Что было потом, нельзя себе представить, крики “браво, прекрасно”, треск, шум, слезы на всех глазах, дамы жали его руки etc, etc.» (из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

В тот день в доме С.Т.Аксакова был приготовлен торжественный обед с преподнесением памятных подарков. «Всё напилось, – вспоминал Герцен, – даже Петр Яковлевич (Чаадаев. – А.К.) уверяет, что на другой день болела голова, я слезно целовался с Шевыревым... За пиром продолжалась та же энергия и воодушевление. Распоряжались обедом Самарин, я и Сергей Тимофеевич Аксаков. Вина выпито количество гигантское и NB не было сотерну, лафиту меньше

9 рублей бутылка...». Поэт Николай Языков, открыто сочувствовавший славянофильской партии, был также вынужден признать: «Обед Грановского был очень пышен и очень весел, т. е. пьян. Противные партии на нем не только что съехались, но и сошлись, обнимались и целовались». Правда, поэт-славянофил сделал в конце характерное прибавление: «Но мне как-то не верится, чтобы Запад мог искренне помириться или помириться с Востоком!». И Языков не ошибся – более того, сделал всё для скорейшего прекращения временного перемирия славянофилов и западников. Дело едва мне закончилось дуэлями между представителями враждебных «партий».

В последующие годы Т.Н.Грановский с успехом продолжил опыт публичных чтений: в 1845–1846 гг. он прочел курс сравнительной истории Англии и Франции, а в 1851 г. свои, ставшие знаменитыми, «четыре характеристики» (Тамерлан, Александр Великий, Людовик IX, Бэкон).

Наиболее серьезными научными трудами Грановского в 1840-х гг. были две его диссертационные работы. В магистерской диссертации «Волин, Иомсбург и Винета» автор (в немалой степени – в пику «самобытникам»), на основании различных источников убедительно доказал, что легендарная «Винета» – «величественная столица» прибалтийских «славян-венедов» есть не что иное, как красивый миф, в котором перемешались представления о славянском торговом городе Волине и норманнской крепости Иомбург. «Националисты» были вне себя от ярости, – и это понятно: ведь М.П.Погодин, например, в своих работах много сил положил на доказательство того, что могущество «славян-венедов» простиралось вплоть до Средиземноморья: их руками, например, согласно Погодину, была построена Венеция!

История с защитой магистерской диссертации Грановского свергла две враждующие «профессорские партии» в состояние открытой войны. «Самобытники» попытались снять диссертацию Грановского с защиты, повторив тактику, успешно примененную ими в отношении работы по истории римского папства ученика Грановского, П.Н.Кудрявцева, – с формулировкой: «за несогласие с учением Православной церкви». В середине ноября 1844 г. Герцен писал Кетчеру: «Славянофильство доходит до какого-то комического безумия... Потеря этой фортеции (речь идет о развенчании Грановским мифа о славянской “Винете”. – А.К.) свела с ума Ше-

вырева, Бодянского и компанию, плач и стенание. Сарагосса взята, они начали делать Грановскому всевозможные неприятности, чтоб возвратить от факультета диссертацию etc.».

Однако сам Грановский был уже готов к такому повороту событий. В новогоднем письме от 1 января 1845 г. он писал Кетчеру: «Диссертацию я не защищал до сих пор, потому что друзья мои, Давыдов и Шевырев, при пособии Бодянского (все – члены партии “самобытников”. – А.К.) хотели возвратить ее мне назад с позором. Я просто не взял и потребовал тот них письменного изложения причины. Разумеется, они уступили...».

Магистерский диспут Грановского состоялся 21 февраля 1845 г. и закончился полным успехом диссертанта: аудитория поддержала его дружными аплодисментами и криками «браво!»; неприятели-самобытники были «зашиканы» и посрамлены. Шевырев жаловался тогда на «студентов-хулиганов» московскому попечителю, графу Строганову. Герцен, в свою очередь, написал в те дни письмо к славянофилу Ю.Ф.Самарину, к которому относился с уважением и порывать связь с которым не собирался: «Теперь позвольте (основываясь на том праве искренней речи, о котором вы пишете) вам сказать несколько слов о славянской партии. С каждым днем грузнет она в жалкую, ненавидящую и готовую преследовать односторонность. Наконец, ее действия увидела публика, и общественный голос осудил ее. Я говорю о диссертации Грановского. Ряд гнусных проделок предшествовал диспуту, наконец, на диспуте явился Бодянский – дерзко, неделикатно, с оскорблениями и колкостями, его проводили шиканьем, а равно и Шевырева... Грановского проводили страшным “браво”... Раздраженное самолюбие, сознание своего бессилия, шиканье – все это вместе окончательно сорвало личину с хваленой славянской любви... Если бы вы видели благородную кротость, самоотверженность (да, в этом высокое самоотвержение – публично уметь с кротостью принять наглую дерзость, кабацкий тон) Грановского, вы согласились бы, что любовь совместима и не с вашим воззрением. Может, они интригами и вздуют из этого дело, может, Грановский должен будет оставить университет. Я не завидую им в этой победе!..».

19 декабря 1849 г. Грановский защитил докторскую диссертацию «Аббат Сугерий. Об общинах во Франции», где, в ходе аналитического жизнеописания настоятеля аббатства Сен-Дени под

Парижем, показал историю взаимодействия государства и церкви в деле становления современной европейской цивилизации. В том же, 1849 г., Грановский был вынужден пройти «испытание в Законе», на котором он «принес свои объяснения» московскому митрополиту Филарету в том, насколько его преподавательская деятельность соответствует догматам православной церкви.

Однако намного больше печалил Грановского факт все большего расхождения его, умеренного либерала, идеалиста и просветителя, с бывшими друзьями – Герценом, Огаревым и др., все более уходящими в сторону политического радикализма. Между тем, переписка со ставшим в 1847 г. эмигрантом Герценом, хотя изредка, но продолжалась: в самые горькие минуты Грановский всегда мог рассчитывать на моральную поддержку старинного друга. «Положение наше, – писал Грановский Герцену в 1850 г., – становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничались следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В Московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых... Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением... Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, – когда же развалится этот мир?.. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать – пусть выгонят сами». В одном из своих последних писем Герцену Грановский писал: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, – а выхода нет живому».

Несмотря на глубокие идейные несогласия, эмигрант Герцен очень высоко оценивал подвижническую деятельность в России профессора Грановского: «А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нрав-

ственным влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание... Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей».

Внезапная кончина императора Николая Павловича в феврале 1855 г. и воцарение его сына Александра II, казалось, не только привели к серьезным изменениям в жизни страны, но и благотворно сказались на положении самого Грановского. В мае 1855 г. приободрившаяся московская профессура выбрала его (вместо Шевырева) деканом историко-филологического факультета Московского университета. Грановский получил звание «коллежского советника» (гражданский чин VI класса в «Табели о рангах», соответствующий воинскому званию полковника) и был награжден орденом Анны 2-й степени... Однако сердце Грановского, никогда не отличавшегося завидным здоровьем, было уже необратимо изношено.

Тимофей Николаевич Грановский скончался от внезапного инфаркта 4 октября 1855 г. в своем доме в Малом Харитоньевском переулке в возрасте 42 лет. 6 октября вечером друзья и студенты собрались на его квартире, а затем перевезли гроб с телом в Университетскую церковь Святой великомученицы Татьяны на Большой Никитской, где и провели остаток ночи перед похоронами. (Тогда и зародилась между товарищами и учениками Грановского, раскиданных жизнью по всей России, традиция собираться каждый год 6 октября на его могиле).

7 октября утром, после отпевания, большая толпа людей двинулась вслед за гробом через Моховую, Лубянку, Сретенку, Мещанскую на Пятницкое (Крестовское) кладбище Москвы; здесь университет приобрел участок земли в 3-ем, самом скромном разряде, где хоронили московскую бедноту. Друзья, ученики, студенты несли гроб на руках до самой могилы. Товарищ Грановского, историк и этнограф И.Г.Прыжов вспоминал: «Во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного. Пришли к могиле... Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми вен-

ками». Позднее, на деньги, собранные студентами, над могилой был установлен обелиск из темно-красного гранита. На нем надпись: «Тимофею Николаевичу Грановскому (1813–1855). Студенты Московского университета».

Елизавета Богдановна пережила мужа лишь на два года; в 1857 г. она скончалась в возрасте 33-х лет и была похоронена рядом с Грановским.

Споры об уникальной роли, сыгранной Тимофеем Николаевичем Грановским в истории русской культуры и общественной жизни, с его кончиной лишь усилились. Характерно, например, что профессор-историк остался одной из главных мишеней со стороны «самобытнической партии». В черновых записях к роману «Бесы» Федор Достоевский прямо отождествляет Степана Трофимовича Верховенского – с Грановским, а его сына Петра Верховенского – с Нечаевым. Просветитель-европеист Грановский – идейный предшественник террориста-убийцы Нечаева: возможно ли такое?

«Почвенник» Достоевский был в этом абсолютно уверен и настаивал на своей правоте. Когда в 1873 г. «Бесы» вышли отдельным изданием, писатель послал экземпляр книги наследнику-цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III) с сопроводительным письмом, в котором, в частности говорилось: «Главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем». Напомним, что в числе «духовных отцов» Нечаева Достоевский неоднократно называл также Ивана Сергеевича Тургенева – в «Бесах» он выведен в образе Кармазинова. Но в том, конкретном случае с посланием наследнику русского престола писатель удержался от прямого доноительства на живого человека: все-таки упомянутые в письме Белинский и Грановский к тому времени давно уже умерли.

Обвинения «западника» Грановского в «непатриотизме», а иногда и в прямом «национальном нигилизме» со времен Достоевского не утихли. Эти инвективы не только несправедливы, но и исторически ущербны. Очень точно высказался по этому поводу другой великий русский историк, Василий Осипович Ключев-

ский, которого и самого, несмотря на сугубые занятия русской историей, тоже упрекали и в «западничестве», и в «либерализме». В 1905 г., когда в России отмечалось 50-летие кончины Грановского, Ключевский заметил: «Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому Отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах, сквозь вековые препятствия, все тягости преобразовательной эпохи... В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни».

Иван Сергеевич Тургенев: «Я всегда был “постепеновцем”, либералом старого покрова...»

Исследование истоков и эволюции мировоззрения человека, тем более человека выдающегося, – дело столь же увлекательное, сколь и рискованное. Особенно, если речь идет не о кабинетном ученом-теоретике или, например, политике, а о литераторе, гении образного мышления и мастере художественного слова. «Технически» не так сложно проследить истоки образованности, начитанности, даже энциклопедичности знаний Ивана Сергеевича Тургенева. Он с детства свободно владел тремя основными европейскими языками (к ним потом добавятся итальянский, испанский, польский, сербский, болгарский), позднее хорошо изучил латынь и греческий, профессионально знал всемирную историю и историю философии. Гораздо сложнее понять историю становления душевного склада, мировосприятия Тургенева.

Известный культуролог Г.С.Кнабе заметил однажды, что «признание Тургенева либералом, а его мировоззрения – либеральным образует одно из самых устойчивых клише истории литературы»: «Оно опирается на признания самого писателя, на суждения современников, на традицию литературоведения и сомнений вызывать не может. Сомнения возникают там, где требуется определить *содержание* такого либерализма» (курсив мой. – А.К).

Для верного понимания *особого содержания* тургеневского либерализма Кнабе настаивает на учете двоякого понимания самого понятия «либерализм» во времена Тургенева, восходящее к аутентичной латинской этимологии этого слова, связанного с по-

нятием «свободы»: *liber* – «свободный», и *liberalis* – «достойный свободного человека». В этом смысле, «*либерал*» в эпоху Тургенева – это, во-первых, человек, свободный, независимый от диктата власти, а во-вторых, – это личность, свободная, независимая от господствующих идей времени и диктата общественного мнения, от социальных и политических сил, эти идеи воплощающих.

В таком контексте можно согласиться с Кнабе, что Тургенев был либералом не только (и, наверное, не столько) в первом, узкополитическом значении, сколько – и главным образом – во втором, глубинном смысле: «Отношение Тургенева к сложившейся универсальной духовной ситуации – всегда разобщенной, конфликтной, ориентированной на выбор, – поражает свободой от предвзятых предпочтений. Он чаще всего стремится не выбирать между полюсами конфликта, а понять каждый, стремится исходить из противостояния, обнаруженного в жизни, а не подчинять ее односторонне понятой ценности – той, которая представляется говорящему более высокой». Но как сформировался этот своеобразный, не корпоративно-партийный, а глубоко личностный и нравственно окрашенный либерализм Тургенева?

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 г. в Орле, в семейном доме своих родителей – кавалергарда кирасирского полка, участника войн с Наполеоном Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны, урожденной Лутовиновой – богатой помещицы, наследницы крупного состояния. В 1821 г. отец вышел в отставку в чине полковника, и семья оставила Орел, перебравшись на постоянное жительство в имение Спасское-Лутовиново Мценского уезда. Орловская земля навсегда осталась любимой для Тургенева, проведшего значительную часть жизни и умершего за границей. Биограф Тургенева, писатель Б.К.Зайцев (тоже орловец) полагал даже, что именно «малая родина» обусловила особый язык Тургенева – естественный и вольный: «Фраза шла у него вольно, без длиннот... Фраза будто и незаметная, естественно-кругловатая, без остроты, но и не утомляющая повторением любимых оборотов – этим именно вольная, как река, та Ока, на которой стоит его Орел... Был и западник, и барин, а вскормлен народом, писание его шло из народной стихии русской, возведенной лишь на верхи. Через него Орел говорит и Ока, но прошедшие сквозь пушкинский мир».

...В истории «эволюции души» каждого человека всегда можно обнаружить вехи, которые обозначают последовательность соприкосновений и сопереживаний с другими людьми, – людьми прошлого, даже отдаленного, и людьми настоящего, твоими современниками. В богатом семейном предании древнего рода Тургеневых, происходившего от татарского мурзы Тургена, приехавшего в 1440 г. из Орды на службу к московскому великому князю Василию Васильевичу, И.С.Тургенев особенно выделял две фигуры. В 1606 г. дворянин Петр Никитич Тургенев бесстрашно обличил в Кремле самозванца Лжедмитрия, за что был пытан и казнен отсечением головы на Лобном месте Красной площади. Другой Тургенев – Тимофей Васильевич, воевода в Царицыне, был зверски убит в 1670 г. в присутствии самого Стеньки Разина: его схватили, надели на шею веревку, привели на крутой берег Волги, прокололи копьем и утопили. Личное самостояние человека, опирающееся на внутреннюю силу, гордость и честь перед лицом как сильных мира сего, так и непросвещенной черни, – вот что выделял Иван Тургенев в обеих этих историях из жизни своих предков.

Что касается «современников», то в процессе своего нравственного становления сам Тургенев отмечал, прежде всего, влияние двух других людей – Тимофея Николаевича Грановского и Николая Владимировича Станкевича. Знакомство с Грановским (также орловцем) состоялось в 1835 г. Тургенев вспоминал, что от Грановского веяло «веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано редкое и благодатное свойство не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого, он был идеалист в лучшем смысле этого слова». «К нему, как к роднику близ дороги, – писал Тургенев, – всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего».

Будущий лидер русского университетского западничества и либерального просветительства, Грановский собственным примером показал Тургеневу, что либерализм (в глубинном смысле) – есть не декларативность и назидательство, а личное подвижничество, прежде всего духовное. Знакомство с Грановским было продолжено в Берлине, куда девятнадцатилетний Тургенев приехал для углубления своих познаний в области философии, истории и древних языков. Грановский и познакомил Тургенева с Николаем Станкевичем.

В биографической литературе о Тургеневе неоднократно отмечено, что тот с юных лет невзлюбил молодежную «кружковщину» – экзальтированно-восторженную и кланово-непримиримую. В этом смысле русский студенческий Берлин рубежа 1830–1840-х гг. представлял собой характерную картину, хорошо описанную Б.Зайцевым: «По русскому обыкновению, Гегеля обратили в идола. Поставили в капище и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. “Абсолютная личность”, “перехватывающий дух”, “по себе бытие” – из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой». Коллективное помешательство русских студентов «на Гегеле», клановая борьба вызывали у студента Тургенева внутреннее раздражение. «Был ли слишком вообще одиночка? – задавался вопросом Зайцев. – Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, вездущую, конечно, к одиночеству».

Но как быть тогда со Станкевичем – бесспорным вожаком русских молодых гегельянцев в Берлине? Зайцев и здесь отвечает точно: «Станкевич... как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни перед кем не блистал. Действовал тишиной и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах – Станкевич просто излучал нечто, и этим воспитывал... Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел в *воздух* Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе – всегдашний полет, которые для Станкевича характерны».

В Берлине, в русском салоне супругов Фроловых, который посещали Тургенев, Грановский, Станкевич, по воспоминаниям близкого друга последнего, Я.М.Неверова, шла речь о «преимуществах народного представительства в государстве, о всесловном участии народа в несении государственной повинности и о доступе ко всякой государственной деятельности». Однажды, когда поздно вечером Станкевич, Тургенев и Неверов вернулись домой, Станкевич произнес слова, ставшие потом идейным кредо

Тургенева: «Масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами. Нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития... А потому, кто любит Россию, тот должен желать распространения в ней образования». При этом, вспоминает далее Неверов, Станкевич «взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».

Но еще более значительным для духовного становления Тургенева стало его почти ежедневное общение с Николаем Станкевичем в 1840 г. Риме. Об этом Тургенев написал после смерти Станкевича (это случилось 26 июня 1840 г. в лигурийском местечке Нови) к своему другу М.А.Бакунину: «Как для меня значителен 40-й год!.. В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет – начало развития моей души?!». В этом своем письме двадцатидвухлетний Тургенев попытался, несколько сумбурно, изложить характер того влияния, которое оказал на него Станкевич. Удивительная вещь: речь опять, как и в случае с Грановским, идет не о наставлениях и назидательности старшего товарища по отношению к младшему, не о нацеливании на некую «борьбу», а, скорее, напротив – о заботливом убережении от юношеского максимализма, о поощрении работы не только мысли, но и души. К чести самого Тургенева, он сумел понять и оценить это: «Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого тон посвящал в служение истине своим примером, поэзией своей жизни, своих речей! Я его увидел – и прежде, еще непримиренный, я верил в примирение: он обогатил меня тишиной, уделом полноты – меня, еще недостойного... Я видел в нем цель и следствие великой борьбы и мог, – отложивши ее начало, – без угрызения предаться тихому созерцанию мира художества: природа улыбалась мне». Я всегда живо чувствовал ее прелесть, веяние бога в ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений; теперь я с радостью протягивал к ней руки и перед алтарем души клялся быть достойным жизни!».

Очень точно описал этот процесс «перевоспитания» молодой души Тургенева Б.К.Зайцев: «Станкевич... *принял* Тургенева, полюбил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей, его перевоспитывал... Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели... “Царский сын, не знавший о своем происхождении” (так называл друга впоследствии Тургенев. – *А.К.*) доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи “Афинской школы” и “Парнаса” Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича – дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда в этом патриции». Тогда, в Риме, Тургенев, по его собственным словам, узнал про себя главное: «Перед одним человеком безоружен: перед собственным бессилием или если его духовные силы в борьбе... теперь враги мои удалились из моей груди, – и я с радостью, признав себя целым человеком, готов был с ними вступить в бой. Станкевич! Тебе я обязан своим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель».

Были, разумеется, и иные фигуры, оказавшие несомненное влияние на духовное становление молодого Тургенева: Михаил и Татьяна Бакунины, Виссарион Белинский, Петр Анненков, Василий Боткин... Но были и некие внешние *обстоятельства*, которые периодически побуждали будущего великого писателя делать тот или иной жизненный выбор. Что, например, побудило юного Тургенева отправиться за продолжением образования за границу?

«Запад» манил его еще в университете. По свидетельству младшего друга Тургенева, американского писателя Генри Джеймса, Тургенев часто вспоминал о годах своего студенчества: «В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи-студенты называли меня “американцем”».

Переведясь из Московского университета в Петербургский и окончив там полный курс на филологическом факультете, Тургенев весной 1838 г. отправился доучиваться в Берлин. Через трид-

цать лет он описал мотивы этого шага во «Вступлении» к своим «Литературным и житейским воспоминаниям», открывавшими, в свою очередь, новое Собрание его сочинений: «Мне было всего девятнадцать лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей... Стремление молодых людей – моих сверстников – за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоинстве каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет».

Тургенев вспоминал, что в 1838 г., покидая Россию и отправляясь в Германию, он «весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос». Но – «делать было нечего»: «Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал: полоса помещичья, крепостная, не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя “всех и вся”, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в “немецкое море”, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн – я все-таки очутился “западником”, и остался им навсегда».

В 1842 г., уже в России, Иван Тургенев успешно сдал магистерские экзамены в расчете получить место профессора философии в одном из столичных университетов, но цепочка случайностей помешала этому – судьба словно расчищала ему путь к иному поприщу. Когда в 1847 г. Тургенев снова и надолго уезжал в Европу, его антикрепостнические убеждения были уже окончательно сформированы. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера, – писал он в 1868 г. – Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага

затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, – с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить...». Добавим, что в этом описании причин своего «исхода на Запад» Тургенев выставляет на первый план мотивы исключительно идейные и умалчивает о «сердечных». Между тем немалую роль в его тогдашней поездке сначала в Германию, а затем во Францию, – и друзьям это было отлично известно – сыграло его увлечение испано-французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа...

Три года Тургенев провел тогда за границей и лишь в 1850 г. вернулся в Россию, уже известным автором, и в первую очередь – «Записок охотника», в которых Иван Аксаков увидел «стройный ряд нападений, целый батальонный огонь против помещичьего быта России». А весной 1852 г. Тургенев неожиданно обрел на родине печальный опыт месячной тюремной «отсидки», а потом и годичной ссылки в Спасское за, как ему казалось, достаточно безобидную провинность – публикацию некролога на смерть Н.В.Гоголя, напечатанного в одном из московских журналов. Демонстративная и неадекватная жестокость властей, похоже, нанесла Тургеневу сильнейшую и до конца жизни не изжитую травму. Он пытался тогда апеллировать к наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу; меры в отношении Тургенева были действительно несколько смягчены (в 1853 г. ему было разрешено посещать столицу), и писатель посчитал это прямым следствием вмешательства Цесаревича.

Кончина императора Николая Павловича и воцарение Александра II, окончание Крымской войны сыграли важную роль в судьбе многих русских интеллектуалов. О серьезных реформах пока не было речи, но тысячи русских вновь получили возможность свободно выезжать за границу. Получил заграничный паспорт и Тургенев: «Позволение ехать за границу меня радует, – писал он в июне 1856 г. графине Ламберт, – и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу – значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить

все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе “судьбу”; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю – и от ответственности перед самими собою». Причины такого положения Тургенев объяснил далее особенностями русской жизни: «У нас нет идеала – вот отчего все это происходит. А идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий родится афинянином или англичанином, художником или ученым – и религия не всякому дается – тотчас. Будем ждать и верить – и знать, что пока мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным».

Когда-то Европа дала Тургеневу возможность сначала учиться, а потом свободно писать, но она не могла ему, русскому писателю, гарантировать душевный комфорт всякий раз. Как и предвидел Тургенев, Париж середины 1850-х годов не стал для него вождельным раем, стимулирующим творчество. Более того, письма самым близким людям обнаруживают, напротив, тяжелейший нравственный и творческий кризис: «Обанкротился человек – и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести... Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в water-closet все мои начинания, планы, и т. д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет – были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется – в отставку! Это не вспышка досады ... это выражение или плод медленно созревших убеждений» (из письма В.П.Боткину 11 февраля 1857 г.); «О себе говорить много нечего: я переживаю – или, может быть, доживаю нравственный и физический кризис, из которого выйду либо разбитый вдребезги, либо... обновленный! Нет, куда нам до обновления – я подпертый, вот как подпирается бревнами завалившийся сарай. Бывают примеры, что такие подпертые сараи стоят весьма долго и даже годятся на разные употребления» (из письма П.В.Анненкову 3 апреля 1857 г.). Некоторый шанс на выход из тупика дала поездка в Германию, на Рейн, где Тургенев начал свою «Асю». Но подлинный прилив творческих сил произошел позднее, в Италии, где (отметим важное обстоятельство) активное сочинительство сопровождалось столь же активным участием в либеральных политических проектах.

Приехав в Рим в ноябре 1857 г., Тургенев сделал ставку на уже знакомый ему «Вечный город», как на свой последний шанс: «Если я и в Риме ничего не сделаю – останется только рукой махнуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, – но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет» (из письма Е.Е.Ламберт 3 ноября 1857 г.).

И, действительно, осень, а потом зима и весна 1857–1858 гг. стали важнейшими в судьбе Тургенева: тогда, в Риме, он, несмотря на досадные приступы застарелой болезни, закончил повесть «Ася» и начал «Первую любовь» и «Дворянское гнездо» – переломные вещи в его творчестве. Об этом, втором посещении Тургеновым Рима литератор Борис Зайцев (сам известный «римский обожатель») красиво написал в своей «Жизни Тургенева»: «Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала – не отвечала на письма... Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения... Вечность входила в него, меняла, лечила... Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли – о судьбе, смерти, бренности – именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал».

Параллельно с литературной работой, Тургенев в Риме был постоянным участником политического кружка, собиравшегося в салоне великой княгини Елены Павловны и сыгравшего большую роль в идейной подготовке будущих «великих реформ». Участниками этого «римского кружка» были будущие известные деятели реформ князь В.А.Черкасский, князь Д.А.Оболенский, Н.Я.Ростовцев, баронесса Э.Ф.Раден и др.

Как и его товарищи, Тургенев в Риме жадно следил за событиями на родине. «Я здесь, в Риме, все это время много и часто думаю о России – что в ней делается теперь?» – вопрошал Тургенев в письме к Е.Е.Ламберт. В европейских газетах тогда чуть ли не ежедневно писали о строительстве в Англии самого большого в мире парохода «Левиафан», и Тургенев сравнивал с этим гигантом огромную Россию, готовившуюся встать на путь реформ: «Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны, или застрянет на полпути? До сих пор слухи приходят все только благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек, и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда – великое слово! – поднимет и этого медведя из берлоги».

Тургенева радовали первые шаги нового императора Александра II. Особенно вдохновили его смелые рескрипты об учреждении комитетов для обсуждения крестьянского вопроса, в которых официально заявлялось о необходимости начать подготовку к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Думая о возвращении в Россию, Тургенев предполагал лично включиться в дело крестьянского освобождения. В конце 1857 г. он сообщал из Рима Л.Н.Толстому, что «решил посвятить весь будущий год на окончательный раздел с крестьянами, – хоть все им отдам, а перестану быть “баринном”». На это я совершенно твердо решился, и из деревни не выеду, пока всего не кончу». Свое возвращение в Россию Тургенев связывал и с началом серьезной общественной деятельности: 9 января 1858 г. он отправил в Петербург «записку» одному из лидеров российской «реформаторской партии» А.В.Головнину (будущему министру народного просвещения), где подробно изложил идею издания специализированного журнала «Хозяйственный указатель», должного объединить эмансипаторские принципы с прагматикой аграрного дела.

Между тем, некоторые другие известия из России не могли не настораживать Тургенева. Он, в частности, заметил попытки отдельных чиновных карьеристов второго ряда, приодевшихся во входящие в моду одежды «либералов», устроить погром русского славянофильства, используя само понятие «либерализм» как административную дубинку для сведения личных счетов. Настоящий русский либерал Иван Тургенев направил тогда в евро-

пейскую прессу статью в защиту славянофилов, подчеркнув их бесспорные гражданские достоинства, их роль в деле борьбы за русскую свободу. Западник Тургенев не ошибся в своих друзьях: такие лидеры славянофильства, как Ю.Ф.Самарин или князь В.А.Черкасский сыграли большую роль в подготовке и осуществлении «великих реформ».

Можно сказать, что именно на рубеже 1850–1860-х гг. у И.С.Тургенева окончательно сложился тот либерально-западнический мировоззренческий комплекс, который был впоследствии кратко изложен во «Вступлении» к новому Собранию сочинений. Именно этот небольшой текст, написанный в Баден-Бадене в 1868 г., можно считать подлинным **credo зрелого Тургенева**. Отвечая на распространенные среди русских консерваторов упреки в «непатриотизме», Тургенев написал тогда: «Я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. “Записки охотника”, эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них – в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет?». «Мне могут возразить, – продолжает заочную полемику с оппонентами Тургенев, – что та частичка русского духа, которая в них (“Записках охотника”. – *А.К.*) замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы “Записок охотника”, если б остался в России».

В противовес вновь окрепшим тогда в России охранителям-самобытникам, понимающим патриотизм как примитивное антизападничество, Тургенев прямо декларировал выношенную им идею о том, что Россия – неотъемлемая часть Европы, и восточные славяне по историческому праву принадлежит к семье европейских народов: «Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса – в глазах филолога, этнографа – одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции

на Рим и обоих их вместе на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого – что ни говори – родственного, однородного мира на нас?». По мнению Тургенева, люди, которые под видом защиты самобытных начал стараются отлучить Россию от Европы, демонстрируют как раз крайнее неверие в русскую самобытность: «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, – нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» Тургенев ссылается при этом на собственный пример естественного соединения самобытной русскости и европейского универсализма: «Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу».

Именно на этих общих принципах И.С.Тургенев старался твердо стоять в 1860–1870-е гг., апеллируя одновременно и к русскому обществу, и к правительственным верхам, и к тем из своих друзей (например, А.И.Герцену), которые все больше уходили от здравого конструктивного европеизма в сторону революционно-го радикализма и возрождаемой на новый манер «русской исключительности».

Положение либерала-центриста, стремящегося не впасть ни в охранительное чинопочитания, ни в радикальный нигилизм, – всегда непросто, часто – драматично. Парадоксально, но Тургеневу всегда в жизни больше нравились активные, пусть идеалистически настроенные, «Дон-Кихоты», нежели излишне рассудочные «Гамлеты» (у писателя даже есть работа, построенная на сопоставлении этих двух «типов»). В тогдашней европейской политике его больше увлекали люди типа бесстрашного революционера Гарибальди, нежели осторожного либерала Кавура, – либерал Тургенев прекрасно отдавал себе отчет в этом явном противоречии. «Какая каша происходит в Италии! – писал он 1 августа 1859 г. П.В.Анненкову. – Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возь-

мет нашего брата, исконного зрителя – и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: viva (да здравствует. – *ит.*) Garibaldi или: a basso (долгой. – *ит.*) кого-нибудь другого – и глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует; под старость – стыдно, или, как говорил при мне один отечески наказанный мужик лет 50: “оно не то что больно, а перед бабой зазорно”. У нас с Вами бабы нет, а всё – зазорно...»

Поклонник европейского прогресса, Тургенев верил в разумное преобразование мира и даже иногда называл это рукотворное чудо – «революцией». Но грязной стороны революций он боялся, более рассчитывая на «реформаторство сверху». Он, например, искренне симпатизировал императору Александру Николаевичу, верил в его личное расположение к себе. В конце 1860 г. Тургенев составил даже (но так в итоге и не отправил) специальный «коллективный адрес» императору с изложением ряда принципов, серьезность которых дало основание народнику-эмигранту П.Л.Лаврову говорить об этом документе, как о «проекте конституции».

В тексте «адреса» Тургенев прямо указал, что полностью отдает себе отчет в том, что подобное «выражение искренних убеждений... может встретить недоверие» со стороны царя, ибо «в нынешние смутные времена самое правдивое слово потеряло свою силу, самые чистые намерения возбуждают сомнение». Тургенев поспешил от имени «инициаторов» заверить императора: «Мы принадлежим к числу людей, которые верят в Вас; которые не только не мыслят о перемене правительства, но зывают к власти. Мы не забыли и вся Россия не забудет вместе с нами, что эта власть освободила крестьян! (к моменту начала распространения “адреса” освобождение крестьян от крепостной зависимости считалось делом решенным. – *А.К.*) Мы верим в Вас, государь, но мы желаем также разумных свобод нашему отечеству, правильного и успешного развития нашим силам. Мы честно и откровенно приближаемся к престолу и просим нашего царя выслушать голос общественного мнения, обратить внимание на желание его народа». Тургеневский «адрес» декларировал ряд важных принципов: полную отмену телесных наказаний; гласность судопроизводства; прозрачность государственных доходов и расходов; расширение полномочий земства; сокращения срока солдатской службы; уравнение в правах староверов с прочими подданными.

Характерно, что Тургенев, как автор «адреса», точно воспроизвел классическую либеральную логику рассуждений, восходящую к знаменитым «Трактатам о политическом правлении» англичанина Джона Локка. Смысл этой логики таков: либеральные преобразования есть меры неизбежные необходимые, призванные укрепить, а не ослабить государственный порядок. «Государь! Вам скажут, что подобные слова преступны или безумны; назовут нашу просьбу требованием и прибавят, что уступать подобному требованию – значит вывести страну на путь насильственных переворотов; но мы умоляем Ваше величество не верить тем, которые будут говорить так. Мы, напротив, смеем думать, что удовлетворив справедливые желания Вашего народа, Вы навсегда устранили возможность таких потрясений, соберете вокруг себя все лучшее, все живые силы общества, подсечете под корень всякие нетерпеливые и необдуманые увлечения».

В завершение «адреса» Тургенев напомнил, что император Александр Николаевич сам уже успешно действовал в этой либеральной логике – подразумевалось, в том числе, обращение Александра II к московскому дворянству весной 1856 г., ставшее прологом целенаправленной работы по крестьянскому освобождению. «Государь, Вам угодно было сказать некогда, собравши дворян: “Дайте мне возможность стать за вас...”. Дайте же и нам, всем Вашим подданным, возможность дружно и твердо встать за Вас, как за нашего вождя, не допустите мысли о разъединении блага России с Вашей властью, процветанием Вашего дома... Вы уже много сделали..., двиньтесь вперед по начатому Вами пути, и мы все пойдем за Вами».

Перспективу распространения своего «адреса» с целью его подписания «серьезными людьми» Тургенев связывал с Артуром Бенни, идеалистом-англичанином, с которым его познакомил Герцен. Однако миссия Бенни, который до конца скрывал имя автора, успехом не увенчалась: «серьезные люди» обращения к царю не подписали, и, в конечном счете, «адрес» так и не был отправлен императору. В довершение всего, Бенни получил еще и разнос в Лондоне от А.И.Герцена, в благожелательной поддержке которого ранее не сомневался. «Предполагаемый вами адрес мог бы, при теперешней реакции, погубить вас и многих, – выговаривал ему Герцен. – Адрес умеренный, о котором вы пишете, может,

и не дурен (хотя о главном вопросе – о выкупе крестьянских земель, там и не упомянуто), но вы вряд ли успеете что-нибудь сделать... Недостаточно иметь верную мысль, надобно ясно знать средства под руками».

Надеясь на «реформы сверху», Тургенев старался всемерно умерить антиправительственный пыл своего друга Герцена, эмигрировавшего в 1847 г. из России. Высоко оценивая роль герценовского «Колокола», Тургенев долгое время пытался корректировать его тактику. Он был уверен, что «Колокол» не должен огульно критиковать русскую власть вообще и по любому поводу, а, напротив, поощрять и поддерживать любые ее реформаторские начинания. Это касалось, в первую очередь, действий самого императора Александра II, который, по мнению Тургенева, лично желает реформ, но вынужден считаться с консервативной партией в своем окружении. 26 декабря 1857 г. Тургенев писал из Рима Герцену: «Не брани, пожалуйста, Александра Николаевича, а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки (реакционеры. – А.К.). За что же его эдак с двух сторон тузить – эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

Тургенев также советовал Герцену активнее поддерживать и без особой нужды не критиковать либеральную группу в правительстве, которую тогда возглавляли великий князь Константин Николаевич (младший брат императора) и другой лидер реформаторов – Александр Васильевич Головнин. В письме Герцену в Лондон от 20 декабря 1860 г. Тургенев передавал просьбу русских либералов-постепеновцев: «Также просят тебя очень щадить великого князя Константина Николаевича в твоём журнале, потому что, между прочим, он, говорят, ратоборствует, как лев, в деле эмансипации против дворянской партии – и каждое твое немилостивое слово больно отзывается в его чувствительном сердце». В другом письме, от 30 января 1862 г. Тургенев просит Герцена уже за Головнина, назначенного незадолго до того управляющим министерством народного просвещения: «В России точно кутерьма, но прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина. За исключением двух, трех вынужденных и то весьма легких уступок, все, что он делает – хорошо... Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его “придставим”, как говорят мужики, приводя виноватых для сечения в волость...» Одна-

ко «дружеские советы» Тургенева все менее и менее принимались в расчет Герценом – бывших друзей все более разделяли не только тактические, но и глубокие мировоззренческие различия.

Место И.С.Тургенева в русской общественной жизни было парадоксальным: радикалы считали его чуть ли охранителем, сами охранители, напротив, – чуть ли не радикалом. Любое новое произведение писателя тут же попадало под пристальный анализ партийных интерпретаторов на предмет того, «что на самом деле хотел сказать и на чьей стороне автор?» Тургенев как-то отметил, что после выхода романа «Отцы и дети» в русском обществе сложилась ситуация, которая его глубоко расстроила и обеспокоила: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов...».

Причиной, разумеется, был образ Базарова, по-разному истолкованный различными общественными силами. «В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что “с хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки”, – поражался Тургенев, другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. “Вы ползаете у ног Базарова! – восклицает один корреспондент, – вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности, вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!”».

Тургеневу пришлось даже написать специальную статью «По поводу “Отцов и детей”» (1869), где он попытался показать, что в своем литературном творчестве он руководствуется художественными, а не политическими принципами. «Не однажды слышал я и читал в критических статьях, – отмечал Тургенев, – что я в моих произведениях “отправляюсь от идеи” или “провожу идею”; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался “создавать образ”, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы». «Господа критики, – продолжал писатель, – вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора... Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что “проводит свои идеи”, не хотят верить, что точно и сильно воспро-

известии истину, реальность жизни – есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». И далее Тургенев привел действительно удивительный и показательный пример: «Я – коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю, однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого “разбить его на всех пунктах”. Почему я это сделал – я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что *в данном случае – таким именно образом, по моим* понятиям, сложилась жизнь, а я, прежде всего, хотел быть искренним и правдивым».

Однако странная судьба его художественных произведений, и, в первую очередь, «Отцов и детей» в какой-то момент побудила Тургенева искать новые формы литературного самовыражения. В романе «Дым» (1867) он, в форме сатирического памфлета, по сути дела «симметрично» разоблачил и высмеял обе «русские партии», Реакцию и Революцию – и «генералов-охранителей» (баденский «кружок Рагмирова») и «нигилистов-радикалов» («кружок Губарева»). Более чем за десять лет до «пушкинских торжеств» в Москве, Тургенев уже дал свой, либеральный ответ на ту проблему, которую, казалось, так остро поставил Достоевский в 1880 г. в своей знаменитой «пушкинской речи». Концовка той речи: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!», заставила, как известно, дружно аплодировать как русских западников, так и славянофилов (высоко оценил речь и присутствовавший Тургенев).

Диагноз беды – наступающего на Отечество в двуединой форме – гордыни и праздности – «нового варварства» был поставлен Достоевским верно, но вот «изгонять», как известно, он призывал главным образом «бесов-нигилистов». То, что новое варварство может прийти в Россию не только снизу, из подполья, но и с самого самодержавно-бюрократического верха – такую опасность бывший узник «Мертвого дома», а ныне убежденный консерватор, похоже, в расчет уже не брал.

Но в 1867 г. либерал И.С.Тургенев показал: «дым» заволакивает и одолевает русскую жизнь с обеих сторон; не только со стороны «нигилистов», но и со стороны «охранителей». Обе «партии» вполне стоят друг друга; обе обуяны беспредельной гордыней (т. е. абсо-

лютно нечувствительны к какой-либо критике и считают свой корпоративный мирок единственно правильным), и обе же абсолютно праздны и социально непродуктивны. В «Дыме», вопреки литературоведческим изысканиям, нет – да и не задумывалось – «положительных героев». Не являются таковыми ни Литвинов, ни Ирина, ни даже западник-резонер Потугин, хотя он и высказывает некоторые близкие автору-Тургеневу идеи. Тургенев, похоже, вообще иронизирует в «Дыме» над необходимостью выведения «положительного героя». Проветрить и очистить Россию от опасных «дымов» должны не героини-одиночки, а принципиально новые общественные отношения, способные превратить вчерашних «одиночек» в социально значимый и достаточно распространенный тип личности.

Между тем, русское общество, похоже, совсем не поняло глубоко либеральной, т. е. принципиально надпартийной сути романа Тургенева. «Объективные» авторы в десятках рецензий бросились взвешивать, кого Тургенев разоблачил больше: «ратмировцев» или «губаревцев»? Клань активно включилась в политическую интерпретацию «Дыма». Имели место молодежные сходы, в т. ч. среди русских студентов за границей, на которых молодые радикалы «выносили порицания» писателю «за критику демократии и революции». Не отстали и сановные охранители: собравшиеся в Английском клубе генералы совсем было собрались писать «коллективное письмо» Тургеневу, где отказывали ему в своем обществе. Писатель потом досадовал, что его приятель В.А.Соллогуб «отговорил их тогда от этого, растолковав им, что это будет очень глупо». «Подумайте, – восклицал Тургенев, – какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы его на стенке в золотой рамке повесил!»

Однако весной 1879 г. случилось неожиданное, в первую очередь, для самого И.С.Тургенева. Критикуемый еще недавно со всех сторон, он, приехав в Россию, обнаружил свою крайнюю востребованность в новой, снова качнувшейся к либерализму общественной ситуации. П.Л.Лавров писал: «Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом понятые, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству».

Обе русские столицы встретили писателя триумфом. Когда 13 марта Тургенева чествовали петербургские профессора и литераторы, он высказал идею единения всех культурных людей России. Отдельно обратившись к молодежи, он пожелал, чтобы в Отечестве сбылись, наконец, слова из пушкинских «Стансов», немного переиначенные оратором: «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни...». Печать разных направлений поспешила отметить: то был прямой намек на Конституцию. Через некоторое время в номер Тургенева на четвертом этаже гостиницы «Европейская» явился флигель-адъютант императора «с деликатнейшим вопросом»: «Его Императорское Величество интересуются знать, когда Вы, Иван Сергеевич, думаете отбыть за границу?»...

Вернувшись в Париж, Тургенев в первых числах апреля 1879 г. имел интересную беседу с видным немецким дипломатом Хлодвигом Гогенлоэ. Тот потом вспоминал, что русский писатель был поражен, что в России его чествовали как политика. Сам Тургенев объяснял это тем, что русское общество начало понимать, что только либералы способны предложить объединяющую идею, но беда в том, что правительство все еще отождествляет либералов с нигилистами-заговорщиками. Тургенев, по словам Гогенлоэ, напротив, считал, что поддержав либералов, правительство может привлечь на свою сторону большинство общества. «Неверно утверждают некоторые, что в России нет людей, способных к руководству делами», – говорил Тургенев и с ходу назвал с десяток дельных провинциальных либеральных чиновников и юристов. Однако, если момент будет упущен, наступит общий крах, ибо революция не способна принести стране пользу. Свои мемуары опытный политик Гогенлоэ (впоследствии, как известно, ставший рейхс-канцлером и прусским министром-президентом) заключил весьма характерным образом: «Если бы я был царем Александром, я бы поручил Тургеневу составить кабинет...».

Уже через несколько дней из России пришла весть о новом покушении террористов на императора. Тургенев почти сразу написал Я.П.Полонскому: «Последнее безобразное известие меня сильно смутило, предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спаситель-

ных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немислима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю – и ни до чего додуматься не могу».

Летом 1879 г. Тургенев получил за свои «литературные заслуги» степень доктора естественного права Оксфордского университета. Понятные радость и удовлетворение омрачались печальным предчувствием: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве!».

В 1880 г. Тургенев решил снова непременно ехать в Россию, чтобы лично ответить на новую волну травли в охранительной прессе, третировавшей его чуть ли не за «тайные симпатии к террористам». Тогда в «Вестнике Европы», редактируемом другом Тургенева, либералом М.М.Стасюлевичем, был напечатан ответ Тургенева на оскорбления одного из самых ретивых его критиков, писавшего в «Московских новостях» под именем «Иногородний обыватель». «Если бы г. “Иногородний обыватель”, – так начал свой ответ Тургенев, – ограничился одними посильными оскорблениями, я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой “кучи” идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, – и я не имею права отвечать на это одним презрением... В глазах нашей молодежи – так как о ней идет речь – в ее глазах, к какой бы партии она не принадлежала, я всегда был и до сих пор остался “постепеновцем”, либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, – принципиальным противником революций...».

Среди множества встреч, состоявшихся у приехавшего в 1880 г. в Россию Тургенева, была и встреча с «демократическими литераторами», на квартире у Г.Успенского. Один из молодых писателей, Н.Русанов, задал тогда Тургеневу непростой вопрос: не думает ли он, что в России «на носу революция»? Разве нет сходства нынешней России с предреволюционной Францией конца XVIII в.? Тургенев возразил: «В то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различные мнения, соглашались в одном: старый строй должен быть заменен новым». Но так ли единодушны сегодня общественные силы России? В стране есть реакционеры,

либералы, реакционеры и их взгляды прямо противоположны. «А пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы оппозиционные ручьи, – заключил Тургенев, – о революции, мне кажется, рановато говорить».

Весной 1882 г. во Франции у Тургенева обнаружили первые признаки смертельной болезни: привычные, казалось, подагрические боли врачи диагностировали как прогрессирующий рак позвоночника. Иван Сергеевич скончался 22 августа 1883 г. в Буживале близ Парижа. Отпевание прошло в православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; на Северном вокзале Парижа была устроена «траурная часовня», где состоялся митинг перед отправкой свинцового гроба в Россию.

Первым выступил знаменитый французский историк и писатель Жозеф Эрнест Ренан. Один из русских слушателей подробно записал его речь: «Он характеризовал Тургенева, как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать, – ее назревшие потребности, идущие вразрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка». Выступивший затем от имени французских литераторов Эдмон Абу сказал, что «для славы умершего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите...».

Следование тела Тургенева по России – России уже Александра III – вызвало чрезвычайные опасения у новых руководителей русских охранных ведомств графа Д.А.Толстого и В.К.Плеве, отдавших приказ до предела сократить остановки траурного поезда и беспощадно отсекал людей, желающими попрощаться с Тургеневым. Ездивший на пограничный пункт Вержболово, чтобы принять печальный груз, друг Тургенева, историк и журналист М.М.Стасюлевич, наблюдая многочисленные препятствия, чинимые траурному кортежу, написал впоследствии, что можно было подумать, что по России везут не прах великого писателя-гуманиста, а самого «Соловья-разбойника»...

Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

СТАТЬИ

Пушкин и Макиавелли (о философско-политических параллелях «Медного всадника» и «Государя»).....	5
Москва Николая Александровича Бердяева	20
Москва Федора Августовича Степуна	35
Петр Бернгардович Струве и его концепция «личной годности»	73

ДОКЛАДЫ

Философия и журналистика: Андрей Александрович Краевский	114
Пути русской свободы: Иван Сергеевич Аксаков и Михаил Матвеевич Стасюлевич.....	126
Александр Иванович Герцен в особняке князей Голицыных на Волхонке	141
Последнее путешествие Николая Владимировича Станкевича (Италия, 1839–1840)	158
Чехов и Данте (к истории итальянских путешествий Антона Павловича Чехова)	167

ЭССЕ

Тимофей Николаевич Грановский: «Деспотизм не может ужиться с просвещением...».....	177
Иван Сергеевич Тургенев: «Я всегда был “постепеновцем”, либералом старого покроя...».....	193

Научное издание

Кара-Мурза Алексей Алексеевич
Интеллектуальные портреты
Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв.
Выпуск 3

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

В авторской редакции

Художник *Н.Е. Кожина*

Технический редактор *Ю.А. Аношина*

Корректор *А.А. Гусева*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 07.08.14.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 13,5. Уч.-изд. л. 14,56. Тираж 500 экз. Заказ № 18.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Т.В. Прохорова*

Компьютерная верстка: *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119991, Москва, Волхонка, 14, стр. 5

Информацию о наших изданиях см. на сайте Института философии: iph.ras.ru